

Ф. НЕСТЕРОВ

Связь времен

Опыт исторической публицистики



Издательство «Молодая гвардия», 1980 г.

Оцифровано с бумажного оригинала Дмитриенко М.А. (Алма-Ата) – grave14@yandex.ru
Для сайтов www.wasp.kz и www.pretich.narod.ru – любое использование данного материала должно нести ссылку на эти веб-ресурсы!
OCR и обработка полностью соответствуют оригиналу – если Вы обнаружите ошибки, пожалуйста, напишите мне по вышеуказанному адресу электронной почты!

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение

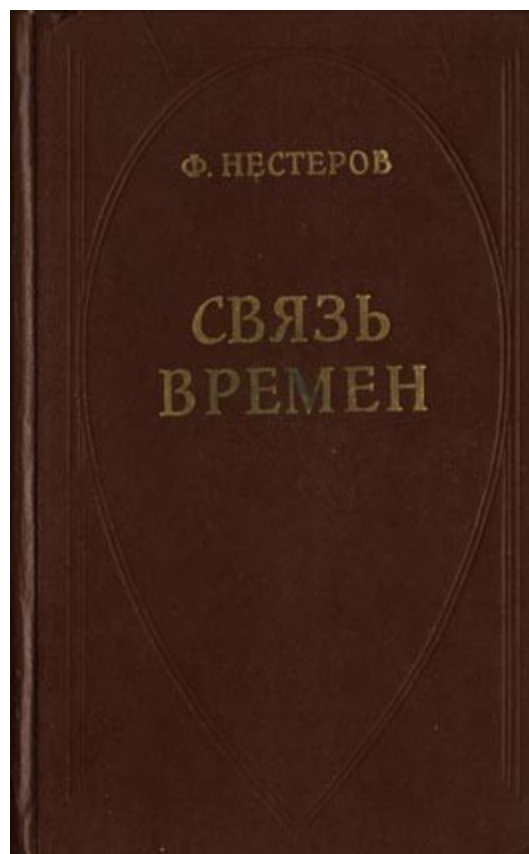
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Между Европой и Азией
Исторический вызов
Ответ Москвы
Сила патриотизма
Многонациональная Россия

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Верность истории
Самодержавие и русский народ
Три поколения
Октябрьская буря

Использованная литература



Нестеров Ф. Ф.

Н56 Связь времен: Опыт исторической публицистики: — М.: Мол. гвардия, 1980. — 239 с, ил. 60 к. 100 000 экз.

Книга кандидата филологических наук Ф. Ф. Нестерова раскрывает своеобразие исторического пути нашей страны — родины Октября. Автор рассказывает о тех нитях, которые связывают настоящее с прошлым; показывает, почему история становится ныне ареной острых идеологических боев. Книга написана в публицистической манере и рассчитана на широкие круги читателей.

10506-046
Н ----- 006-79 0505000000
078(02)-80

ББК 63.3(2)
9(С)

Введение

В апреле 1917 года В. И. Ленин писал: «В XIX веке, наблюдая пролетарское движение разных стран и рассматривая возможные перспективы социальной революции, Маркс и Энгельс говорили неоднократно, что роли этих стран будут распределены в общем пропорционально, сообразно национально-историческим особенностям каждой из них. Эту свою мысль они выражали, если ее кратко формулировать, так: французский рабочий начнет, немецкий доделает.

На долю российского пролетариата выпала великая честь начать...» (1)

То, что произошло потом, дает нам право так закончить ленинскую мысль: совершить социалистическую революцию в своей стране, построить социализм, превратить Россию и Советский Союз в незыблемый оплот мирового революционного процесса.



Великая Октябрьская социалистическая революция была порождением общемировых законов общественного развития, следствием классовой борьбы в условиях монополистического капитализма. Именно поэтому, писал В. И. Ленин, «русский образец показывает всем странам кое-что, и весьма существенное, из их неизбежного и недалекого будущего» (2). И действительно, для многих и многих стран будущее, предсказанное вождем российского пролетариата, уже успело превратиться в настоящее. В постановлении ЦК КПСС от 31 января 1977

года «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» указывалось: «Исторический опыт мирового социализма... неопровержимо доказал всеобщую значимость основных законов социалистической революции и строительства нового общества, открытых марксистско-ленинской наукой и впервые воплотившихся в практике Октября, подтвердил необходимость творческого применения этих законов с учетом конкретных условий и особенностей отдельных стран» (3).

Ну а в чем состояли конкретные исторические условия и национальные особенности самого «русского образца»? Нам кажется, нет особой нужды настаивать на необходимости их идентификации и учета. Ведь роль и этой страны в мировой революции была predetermined «в общем пропорционально, сообразно ее национально-историческим особенностям». Ведь не только всеобщие закономерности, но и российские особенности Октябрьской революции властно наложили свой отпечаток на развертывание революционных событий в мировом масштабе. Именно это имел в виду В. И. Ленин, когда говорил о международном значении русской революции в широком смысле слова: «...Не некоторые, а все основные и многие второстепенные черты нашей революции имеют международное значение в смысле воздействия ее на все страны». Выделив из всей совокупности таких черт те, которые имеют международное значение «в самом узком смысле», он поясняет: «...Понимая под международным значением международную значимость или историческую неизбежность повторения в международном масштабе того, что было у нас, приходится признать такое значение за некоторыми основными чертами нашей революции». И тут же им делается важная оговорка: «Конечно, было бы величайшей ошибкой преувеличить эту истину, распространить ее не только на некоторые из основных черт нашей революции» (4).

На какие же основные черты распространять истину эту нельзя? Очевидно, на те национально-исторические особенности Октября, которые в совокупности составляют его индивидуальность, его неповторимое лицо. На те, что непосредственно следуют из традиций российского революционного движения, а опосредствованно из всей предшествовавшей истории России.

В чем именно они состоят, эти национально-исторические особенности России и ее великой революции? Такой вопрос имеет отнюдь не академический характер; от ответа на него зависит многое в ожесточенной идеологической борьбе, развертывающейся в наши дни.

Буржуазная историография совершает двойной подлог, стремясь доказать, что исторический опыт родины Октября якобы не имеет ценности для стран Запада. Октябрьская революция провозглашается исключительно русским явлением — тем самым под разряд национальных «особенностей» подводятся общие закономерности социального переворота (прежде всего диктатура пролетариата), те закономерности, которые должны действовать в любой социалистической революции. Словам «исключительно русское явление» придается абсолютно негативный исторический смысл. Бессовестно искажается вся история России для того, чтобы перечеркнуть величие и международную значимость ее революции. Действительно характерные ее черты игнорируются, упорно замалчиваются, но зато ей приписываются такие, которые меньше всего походят на национальные особенности. Советскому Союзу навязывают подложное историческое наследие «империи царей», наперекор всем фактам тянут через века фальшивые «линии преемственности»... «Со времен легендарного Рюрика и поныне русская политическая практика направляется несколькими основными теориями», — утверждает, например, издательство Корнельского университета, адресуя читателю книгу «Русская политическая мысль» американского советолога Торнтон Андерсона (5). На симпозиуме западногерманских историков один из его участников, И. Пипер, задает докладчику «глубокомысленный» вопрос: вовсе ли исчезло древнерусское летописание, «или же некое подобие скрытой преемственности существует и в наши дни... Например, отгораживание от Запада и претензии на универсализм... Проявляются ли они как-то скрытно, скажем, в советско-русском интернационализме» (6).

Когда впервые сталкиваешься с подобной экстравагантностью мысли западных историков, невольно поддаешься соблазну ответить в их же «ключе»: да, легендарный Рюрик был скрытым марксистом, поскольку именно марксизм является той «основной теорией», которая направляет «русскую политическую практику» в последней четверти XX века. Нет, древнерусское летописание не исчезло окончательно и донныне. Где-то в глубоком подzemелье Московского Кремля сидит себе посиживает древнерусский летописец XX века, изучая рукописи своих предшественников, что покоятся тут же под каменными плитами. Продолжает из года в год летописание, принимая сверху спускаемую на веревке бадью с пищей, питьем и руководящими указаниями, а сам взамен посылая свои смиренные челобитные о поддержании преемственности политического курса московских великих князей, русских царей и императоров во вселенской советско-русской политике.

Однако дальнейшее знакомство с западной буржуазной историографией России очень скоро отбивает всякую охоту шутить. Эксцентричности, повторяемые с педантичной последовательностью и возведенные в систему, перестают казаться забавными, вызывают сначала скуку, а потом и отвращение. Ровно нет ничего смешного в их политической тенденциозности, которая, как шило из мешка, вылезает сквозь претензии на научную объективность. Ведь кости «легендарного Рюрика» ворошат только затем, чтобы отыскать дополнительный, хотя бы плохонький, аргумент для нападок на Советскую Россию; вкривь и вкось толкуют древнерусские летописи, чтобы бросить тень на советскую внешнюю политику. И дело не в чудачестве того или иного исследователя. Эксцентрика здесь метод, а научная недобросовестность — правило.

Изо всех сил отлучают Россию от Европы. И феодализма-то у нас, оказывается, не было, и сословий не было, и вольных городов не было, и буржуазии не было, и Ренессанса не было, и Реформации не было, и ничего общего между европейским абсолютизмом и русским самодержавием не было (7). Вся русская история, с точки зрения буржуазной славистики, есть чередование господства аварского, хазарского, варяжского, монголо-татарского, догматического византийского влияния и начиная с эпохи Петра вплоть до самой революции благотворного европейского воздействия и господства остзейских немцев (8). Оживленные споры развертываются главным образом вокруг вопроса о том, какое именно господство и влияние оказалось решающим для судеб России.

О том, что русский народ мог сам решать свою судьбу, разумеется, и речи нет. При всем плюрализме мнений, царящем в западной славистике и советологии, такая точка зрения представляется уж слишком еретической и отвергается с порога — плюрализм твердо помнит свои пределы, «их же не преидеши». То, что русский народ не субъект истории, а ее объект, не просто одно из мнений советологии, а непререкаемый догмат, принимаемый всеми ее течениями.

Из нигилистической концепции всей русской истории довольно стройно вырастает нигилистическая же «теория» Октябрьской революции, в которой русофобия оборачивается антисоветизмом. Отсталость провозглашается доминирующей чертой русского исторического процесса; отсталостью «объясняют» и 1917 год и диктатуру пролетариата.

Но если все дело в отсталости, то почему эта великая революция, потрясшая весь мир, произошла именно в России? Или не было стран, еще более отсталых, чем наша? И как объяснить, почему Советская Россия, разоренная мировой войной, холодная и голодная, отрезанная от источников сырья, топлива и хлеба, уменьшенная до размеров основного великорусского этнического ядра, нашла в себе силу разорвать огненное кольцо, разгромить и выбросить вон белые армии и экспедиционные корпуса 14 держав. Одно из двух: либо пресловутая русская отсталость обладает мистическим свойством время от времени преобразовываться в колоссальный импульс энергии, либо в недрах отсталой России скрывалось нечто такое, что позволило ей, несмотря на отсталость, победить. Но что именно? Партия большевиков, вообще говоря, в чудеса не верила, и во всей истории человечества не найдется политического деятеля, способного сравниться с ее создателем и вождем по силе предвидения, глубине, ясности и реалистичности мышления. Тем более знаменательны его слова:

«Два года тому назад, когда еще кипела империалистская война, восстание русского пролетариата, завоевание им государственной власти казалось всем сторонникам буржуазии в России, казалось массам народным и, пожалуй, большинству рабочих остальных стран смелой, но безнадежной попыткой. Казалось тогда, что всемирный империализм — такая громадная, непобедимая сила, что рабочие отсталой страны, делая попытку восстать против него, поступают, как безумцы» (9).

«Никто два года назад не верил, что Россия — страна, разоренная 4-летней империалистической войной, могла выдержать еще два года гражданской войны. Да и, вероятно, если бы нас в конце октября 1917 г. спросили, а выдержим ли мы два года гражданской войны против всемирной буржуазии, то не знаю, многие ли бы из нас ответили утвердительно. Но события показали, что энергия, которую развивали рабоче-крестьянские массы, оказалась больше, чем предполагали люди, осуществлявшие Октябрьскую революцию» (10).

Выдержали два года, а потом еще два года гражданской войны. «Четыре года, — пишет Ленин, — дали нам осуществление *невиданного чуда* (курсив мой. — Ф.Н.): голодная, слабая, полуразрушенная страна победила своих врагов — могущественные капиталистические страны» (11).

Но ведь чудо, если обойтись без ссылок на потусторонний мир, есть внезапное появление на изломе событий дотоле скрытой реальности, когда при катаклизме пласты серой обыденности рассыпаются в прах и на поверхность выходит глубинная сущность. Нужно взглянуть в нее, чтобы постичь истинную связь времен, чтобы найти подлинные национально-исторические особенности России и ее великой революции, чтобы открыть наше неподдельное историческое наследие.

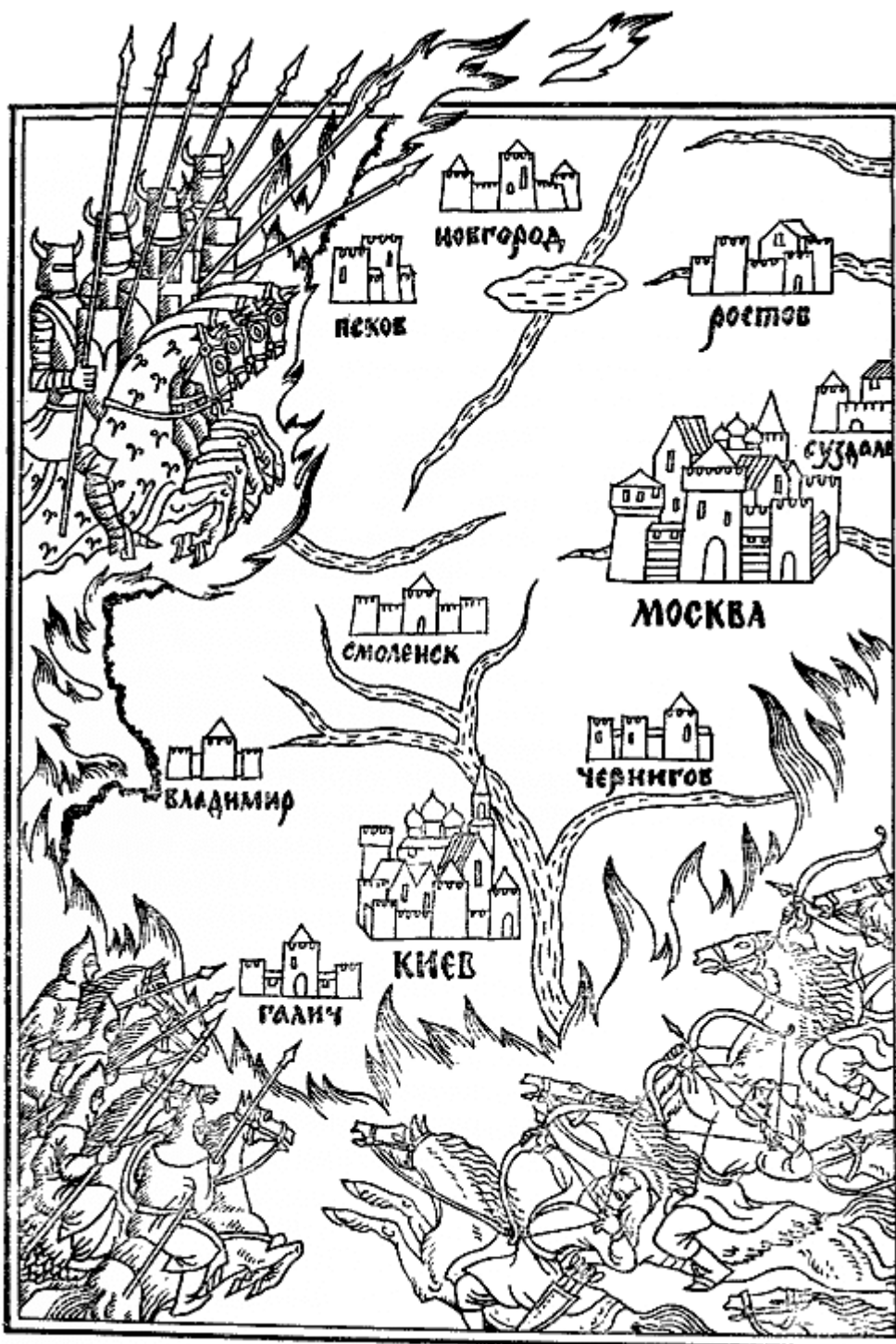
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ

Почти полтора века тому назад находившийся при одном из германских дворов в составе русской дипломатической миссии Ф. И. Тютчев вынужден был публично протестовать против антирусской кампании, поднятой в местной журналистике. В ответ его обвинили в национальной предвзятости, в отсутствии объективного взгляда на свою «варварскую родину», в «апологии России» — и тогда великий русский поэт и дипломат бросил в лицо русофобам сокрушительный довод:

«Апология России... Боже мой! Эту задачу принял на себя мастер, который выше нас всех и который, мне

кажется, выполнял ее до сих пор довольно успешно. Истинный защитник России — это история: ею в течение трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу» (1).



Апелляция к верховному суду истории остается и нашим решающим аргументом в споре с самыми различными концепциями западных славистов и советологов, для которых, несмотря на всю разноречивость и пестроту их историографических воззрений, характерно одно общее стремление: умалить историческое достоинство родины Октября. Но если Россия в самом деле такова, какой ее подчас изображают в западной буржуазной историографии, то есть отсталая, косная, якобы неспособная к творческой инициативе и самостоятельному развитию, тираничная и анархичная одновременно и т.д. и т.п., то позволительно спросить наших критиков, как объяснить, что эта страна вышла победительницей из борьбы за существование, выжила, выросла и даже превратилась в великую державу? Неужели испытания, что выпали на ее долю, оказались слишком легкими?

Вопрос о сравнительной тяжести исторических испытаний и должен стать исходным пунктом для всякого мало-мальски объективного исследователя, желающего установить, в чем, собственно, состоит своеобразие (относительное, конечно) русской истории в сопоставлении с историей Запада. Рассмотрим для начала один конкретный пример.

Ричард Никсон в одной из речей, которую он произнес в бытность свою президентом США, с полным

одобрением повторил ту мысль Андре Мальро, что Соединенные Штаты Америки — единственная страна, ставшая великой державой, не приложив к тому ровно никаких усилий. И в этом французский писатель и американский президент, безусловно, правы. Полная безопасность на протяжении всей истории от вторжений извне, обширная территория, доставшаяся посредством не потребовавшего больших усилий истребления индейцев, плодородные земли, благодатный климат, богатые и разнообразные полезные ископаемые и, наконец, тот факт, что в обеих мировых войнах Америка ценой малой крови захватила львиную долю плодов победы, — все это служит основанием для официального тезиса о богоизбранности американского народа и является предметом национальной гордости.

А вот другая страна, антипод Америке. Польский историк XIX века, менее всего склонный к русофильству, Валишевский, говоря о петровских преобразованиях, делает меткое замечание, относящееся к русской истории вообще: «...Произойдет огромное расточение богатств, труда, даже человеческих жизней. Однако сила России и тайна ее судьбы в большей своей части заключаются в том, что она всегда имела волю и располагала властью не обращать внимания на траты, когда дело шло о достижении раз поставленной цели» (2). За этой характерной особенностью России скрывается действие могущественного фактора, совершенно неизвестного Соединенным Штатам: в XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII веках, как и позднее эпохи Петра I — в XIX и XX веках, русская земля, по меньшей мере, раз в столетие подвергалась опустошительному нашествию и довольно часто одновременно с нескольких сторон. Возникшее на этой земле государство, чтобы отбиться от наседавших врагов, должно было властно требовать от своего народа столько богатств, труда и жизней, сколько это нужно было для победы, а последний, коль скоро хотел отстоять свою политическую независимость, должен был отдавать все это не считая. Так-то складывались и укреплялись от усиленного повторения некоторые национальные привычки, давшие в совокупности народный характер.

Вправе ли серьезный исследователь, поставивший себе целью сравнить американскую и русскую историю, игнорировать тот колоссальный по своим последствиям факт, что Россия в течение всей своей многовековой истории жила в режиме сверхвысокого давления извне, а Америка такого давления вообще не знала? Нет, не вправе. Поступая таким образом, он будет вынужден объяснить замеченные различия не их действительными причинами, а совершенно фантастическими. Но именно так и поступают постоянно американские слависты.

Как, впрочем, и их западноевропейские коллеги. Ни один из них, насколько нам известно, не потрудился сопоставить силу внешнего давления на Россию с подобной же силой, действовавшей на судьбу их отечества или, вообще говоря, на историю любой державы Запада. А это очень жаль: исходя из разности таких величин, можно было бы проследить, как одни и те же законы исторического развития проявлялись в различных формах на западе и на востоке Европейского континента. Только в этом случае и можно было сказать что-то дельное и об особенностях русской истории, и об истинных линиях преемственности, проходящих через нее, и о подлинном значении исторического наследия, полученного советским народом.

На нет, как известно, и суда нет. В том «свободном мире» «свобода научного творчества» хорошо знает свои границы и свято блюдет табу на ряд тем, к числу которых относится и упомянутое сопоставление. Зато нам нет причин уважать запреты, налагаемые классовыми интересами буржуазии на научную мысль Запада.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ

По подсчетам русского историка В. О. Ключевского, великорусская народность в период своего формирования за 234 года (1228—1462 гг.) вынесла 160 внешних войн (1).

В XVI веке Московия воюет на северо-западе и западе против Речи Посполитой, Ливонского ордена и Швеции 43 года, ни на год не прерывая между тем борьбы против татарских орд на южных, юго-восточных, и восточных границах. В XVII веке Россия воевала 48 лет, в XVIII веке — 56 лет (2).

В целом для России XIII—XVIII веков состояние мира было скорее исключением, а война — жестоким правилом.

Так что же это были за войны?

В XIII—XV веках это была борьба русского народа за существование в самом прямом и точном смысле слова. Поставленная судьбой на границе двух континентов, Русь прикрыла собой, как щитом, Европу от вторжения диких татаро-монгольских орд и в благодарность от нее получила удары в спину. Едва весть о страшном Батыевом погроме русских земель распространилась на Западе, как его духовный глава, папа римский, объявляет крестовый поход против «русских схизматиков», чтобы острием меча подтолкнуть их в объятия католической церкви. Когда же надежды, возлагавшиеся на шведских крестоносцев и на Тевтонский орден, рухнули, папа Александр IV (1255 г.) направляет грамоту «литовскому королю» с разрешением «воевать Россию» и присоединить ее области к своим владениям. Главная угроза для Руси в этот период исходила с Востока — здесь борьба велась не на жизнь, а на смерть. Но и Запад (Швеция и Орден) грозил поработением или по меньшей мере (в лице Литвы) лишением политической независимости. Не успев еще сложиться в плотное этническое ядро, Великороссия должна была занять круговую оборону.

В XV веке Россия, сбросив татаро-монгольское иго, переходит в наступление на всех фронтах. Вплоть до конца XVIII века она с мечом в руках устраняет прямые и косвенные внешнеполитические последствия монгольского нашествия и господства: собирает в границах единой державы древнерусские земли, захваченные Литвой и Польшей; преодолевает экономическую изоляцию, пробивает торговые пути к Балтийскому и Черному морям;

заселяет вновь опустошенные южнорусские земли и доводит до конца борьбу с татарскими ханствами, осколками Золотой Орды, — Казанским, Астраханским, Сибирским, Крымским.

Обороняясь или наступая, Россия в целом вела в тот период справедливые и неизбежные войны: иного выбора у нее и не было. Если страна хотела жить и развиваться, то должна была, отбросив ножи за ненадобностью, в течение пяти столетий клинком доказывать соседям свое право на жизнь и развитие. Эти войны в определенном смысле были народными войнами с постоянным и деятельным участием непосредственно народной вооруженной силы, казачества.



Буржуазные историографы, любящие противопоставлять Россию и Запад по несущественным или вообще по существующим лишь в их авторской фантазии признакам, не хотят замечать этой очень важной характерной черты русской истории, действительно отдаляющей Россию от всех, за одним только исключением, стран Западной Европы.

Это исключение — Испания. Подобно России, стоявшей стражем на восточных рубежах Европы, она сдерживала на крайнем западе напор кочевой Африки. Испанская Реконкиста, как и русское наступление на степь, была общенародным делом — ее движущими силами наряду с феодальным классом были города и крестьянство. И этот же фактор, роль пограничной заставы на беспокойной границе, выделил Испанию, как и Россию, из общего потока европейской истории. По замечанию Маркса, «...медленное освобождение от арабского владычества в процессе почти восьмисотлетней упорной борьбы придало полуострову к тому времени, когда его территория полностью очистилась, черты, совершенно отличные от тогдашней Европы...» (3).

Но оставим в стороне эти два исключения, обратимся к истории Англии, Франции, Германии и Италии.

Проследивая войны, ведшиеся ими в течение средних веков, исследователь должен прийти к тому выводу, что периоды национального подъема в ходе вооруженной борьбы вроде народной волны, поднявшей на своем могучем гребне Жанну д'Арк, или воинственного энтузиазма, охватившего действительно всю Англию при приближении к ней Непобедимой Армады, во-первых, крайне редки и, во-вторых, очень непродолжительны.

Что же касается народной войны испанского или русского типа, то она едва ли встречается в истории этой «самой европейской» части Европейского континента. Да и как бы было ей возникнуть, если цели, для достижения которых поднималось оружие, не имели ничего общего с самыми глубокими интересами трудовых масс?

Гвельфы и гибеллины ведут смертоносную борьбу друг против друга по всей Германии и Италии на

протяжении четырех столетий (XII—XV вв.). Из-за чего? Из-за того, что никак не могут выяснить, германскому императору или римскому папе принадлежит верховенство власти, кто из них вправе вводить в должность епископов и получать доходы с епископских владений. Французские Капетинги и английские Плантагенеты примерно в то же время (XII—XIII вв.) скрещивают между собою мечи ради феодальных прав на Нормандию, Анжу, Аквитанию и на другие владения английской короны во Франции. Последние в конечном счете проигрывают — английские бароны не хотят воевать за морем, а английские горожане оплачивать эти войны. В следующем, XIV веке их настроение меняется, и в ходе Столетней войны английские короли не раз во главе армии пересекают проливы, чтобы искать себе французского престола. Французские монархи, со своей стороны, проявляют нисколько не меньшую инициативу в том, чтобы добыть для себя лично или для принцев своего королевского дома лишнюю корону где-нибудь за горами, за морями. В 1254 году брат французского короля Карл Анжуйский со своим войском переваливает через Альпы, проходит через тридевять итальянских земель, берет Неаполь, высаживается в Сицилии. Но с острова после знаменитой «Сицилийской вечерни», во время которой местными жителями было убито около четырех тысяч французов, он должен был все же убраться и вступить в борьбу за корону «обеих Сицилий» с королем Арагона — вот источник знаменитых «итальянских войн» (1494—1559 гг.), которые ведутся между французскими Валуа и Габсбургами, австрийскими и испанскими. Потом были войны за невыплаченное приданое испанской принцессы, за испанское наследство, за австрийское наследство...

Совсем иного рода заботы у России тех времен. Папский посланец Плато Карпини, проезжавший в 40-х годах XIII века в ставку Великого монгольского хана через бывшие Половецкие степи, отмечает: «В Комании мы нашли многочисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие на земле подобно навозу» (4). О том же писал другой европейский путешественник, Рубрук. На огромном пространстве он не видел ничего, «кроме огромного количества могил команов», то есть половцев (5). На восточных границах Руси, в волжской Булгарии, та же картина: там монголы вырубали целый народ полностью. И Русь, очевидно, ожидала та же участь.

Южнорусские земли, во всяком случае, полностью походили на Команию и Булгарию своим кладбищенским покоем. Курская земля «от многих лет запустения великим лесом поростоша и многим зверем обиталище бывша» (6). В Черниговщине «села от того нечестивого Батыева пленения запустеша и ныне лесом заросташа» (7). Сельское население Северо-Восточной Руси в своем болотистом и покрытом густым лесом крае имело, большие возможности спрятаться от кривой сабли и аркана, но и здесь русский народ был поставлен на грань истребления. В страшную зиму 1237/38 годов были уничтожены все сколь-либо крупные города Владимиро-Суздальской Руси, а после того как эти узлы сопротивления были разрушены, мелкие монгольские отряды прошли широкой «облавой» по всей сельской местности, избивая всех от мала до велика. Но это было только начало. «...Летописи рисуют картину непрерывных татарских «ратей» в течение всей последней четверти XIII века. За 20—25 лет татары 15 раз предпринимали значительные походы на Северо-Восточную Русь... Из этих походов три имели характер настоящих нашествий... Владимирские и суздальские земли опустошались татарами пять раз... Четыре раза громили татары «новгородские волости»... Семь раз — княжества на южной окраине (Курск, Рязань, Муром), два раза — тверские земли. Сильно пострадали от многочисленных татарских походов второй половины XIII в. русские города Владимир, Суздаль, Юрьев, Переяславль, Коломна, Москва, Можайск, Дмитров, Тверь, Рязань, Курск, Муром, Торжок, Бежецк, Вологда. Целый ряд городов неоднократно подвергался нападению ордынцев. Так, после нашествия Батыева Переяславль-Залесский татары разрушали четыре раза, Муром — три раза, Суздаль — три раза, Рязань — три раза, Владимир — по меньшей мере два раза (да еще трижды татары опустошали его окрестности)» (8).

Вышеприведенный отрывок взят нами из исследования советского историка В. В. Каргалова «Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси», где собран богатый фактический материал о многовековой борьбе Руси со степью.

Следует дать себе отчет в том, что одно и то же выражение «разрушить город» имеет далеко не одинаковый смысл в русских летописях и европейских средневековых хрониках. Так, к примеру, сообщение о том, что Фридрих Барбаросса «разрушил Майнц», означает лишь то, что император в наказание за то, что бюргеры убили своего сеньора, майнцкого архиепископа, приказал снести крепостные стены города и отменил прежние вольности его жителей. Высшей карой, известной Западной Европе и потрясшей ее, было разрушение тем же императором Милана после двухлетней осады: не только укрепления, но все здания были сровнены с землей и на месте, где стоял Милан, прошел плуг. Что же касается жителей, то они были расселены в четырех окрестных деревнях на положении крестьян. Разрушение же русского города татарами, по свидетельству летописца, вело к иным последствиям: «Множество мертвых лежаща, и град разорен, земля пуста, церкви позжены», «люди избиша от старца до сущего младенца» (9). Если в виде исключения не все жители предавались мечу, то их обращали в рабство и гнали в Золотую Орду.

Здесь с полной отчетливостью проявляется различие между феодализмом кочевых и оседлых народов. История Руси и Западной Европы знает немало примеров того, как воины, взяв приступом город, грабят его и устраивают при этом страшную резню, но ей неизвестны «подвиги» Чингисхана и Тамерлана, уже после победы хладнокровно истреблявших все пленное население и воздвигавших себе памятники в виде холмов из черепов. Дело в том, что европейский государь даже в минуты сильнейшего гнева против курицы, что несет ему золотые яйца, помнил о том, что, зарезав ее, нанесет себе невозполнимый урон. Феодал же кочевник, воспитанный в традициях степной войны за пастбища, традициях, предусматривавших полное — до младенца в люльке, чтобы не оставалось мстителя, — истребление племени или народа-соперника, — этот феодал типа Батыева или Мамаева переносил обычаи и навыки степной войны и на оседлые народы.

Всюду, где бы ни проходили татаро-монгольские завоеватели, они уничтожали прежде всего живую силу противника: как вооруженных воинов, так и мирное население. Последнее, чтобы не дать врагу восполнить нанесенные потери. Естественным средоточием такой живой силы и центрами сопротивления покоряемого народа были города — на них и направляли свой главный удар монголы, вооруженные всеми достижениями китайской осадной техники. Но каков способ завоевания, таков и способ господства: татаро-монголы, по словам К. Маркса, «установили режим массового террора, причем разорения и массовые убийства стали его постоянными институтами» (10).

«Быть или не быть?» — этот вопрос, никогда не возникавший ни перед одним из западноевропейских народов, с грозной простотой и неотвратимостью встал перед Русью. Какими материальными и людскими ресурсами располагала она, чтобы принять этот исторический вызов? Попытаемся сопоставить военно-экономический потенциал Великороссии в XIII—XV веках с теми вооруженными силами, которыми располагали или могли выставить ее противники: Золотая Орда, Великое княжество Литовское, Тевтонский орден и Швеция.



И возвратися князь Александр
с победою славною и бяше
множество полоненых
в полку его и ведяхуть
босы подле конни иже имену
ют себе божии ритори



В XIII веке немецко-датский Тевтонский орден располагал немалым числом рыцарей-добровольцев из других европейских стран, когда в союзе со Швецией попытался нанести решительный удар по Руси. Если принять во внимание, что незадолго перед этим, в 1238 году, великокняжеская дружина, а вместе с ней и большая часть феодального воинства Северо-Восточной Руси погибли в битве с татарами на берегах Сити, то станет ясным, почему Александр Невский выставил против рыцарского «клина» далеко не равноценную ему по боевым качествам новгородскую народную рать, а свою феодальную конницу, с большим трудом собранную по разоренным русским землям, приберег для удара по незащищенным флангам немецкой воинской «свиньи». Во второй половине XIII и в XIV веке после разгрома на льду Чудского озера и в результате отвлечения главных сил Ордена на борьбу с Литвой и Польшей натиск крестоносцев на Псков и Новгород несколько ослабевает, но не прекращается.

В XV веке признав свое поражение в борьбе против польско-литовского государства, Орден пытается взять реванш за счет Руси. Политический момент, выбранный им тогда для нападения, весьма характерен. В 1445 году великий московский князь Василий Васильевич (Темный) терпит поражение от казанских татар и попадает к ним в

плен. Москва готовится к осаде, а Московское княжество, которое вскоре начинают раздирать феодальные смуты, теряет на некоторое время возможность оказать помощь Новгороду. Тем временем Ливонский орден, получив помощь из Пруссии, заключает в 1447 году «для пользы всего христианства» наступательный союз с королем Швеции «против отступивших от христианской веры русских из Великого Новгорода» (11). Однако Новгород опять останавливает совместную агрессию и опять силами народного ополчения. Второе в столетии крупное столкновение Ордена с Русью совпадает с последней отчаянной попыткой хана Большой Орды сохранить свое господство над русскими землями. И когда все силы Московского великого княжества были прикованы к реке Угре (1480 г.), на противоположном берегу которой стояли татарские полчища, на северо-западе псковские рубежи переходила крестоносная армия. Ливонский хронист сообщает, что магистр Бернд фон дер Борх «собрал такую силу народа против русского, какой никогда не собирал ни один магистр ни до него, ни после... Этот магистр был вовлечен в войну с русскими, ополчился против них и собрал 100 тысяч человек войска из заграничных и туземных воинов и крестьян; с этим народом он напал на Россию и выжег предместья Пскова, ничего более не сделав» (12).

Гораздо большую, чем Орден, опасность для рождающейся государственности Великороссии являло собой Великое княжество Литовское. Литву обошли стороной татаро-монгольские орды, не пострадали от нашествия и русские земли, вместе с коренными, литовскими, составившие политическое и экономическое ядро Великого княжества. «Уцелели от монгольского разорения также Полоцко-Минские и другие земли Белоруссии, Черная Русь (Новгородок, Слоним, Волковийск), Гродненские, Турово-Пинские и Берестейско-Дорогиченские земли не были завоеваны татаро-монгольскими феодалами» (13), — указывает советский историограф В. Т. Пашуто. Опираясь на это ядро, великий князь литовский Гедимин и его потомки сдерживают агрессию Ордена, громят татар при Синих Водах (1362 г.) и осуществляют широкую экспансию за счет Малой и Великой Руси. Сын Гедимины, великий князь литовский Ольгерд присоединяет Чернигово-Северскую землю, упрочивает свое влияние на Волыни и в Подолии, оставляет своего вассала княжить в Киеве, поддерживает Новгород и Тверь против московского князя, распространяет свое влияние на смоленские земли и дважды осаждает Москву.

В тот период Великое княжество Литовское имеет неоспоримое превосходство над Московским почти во всех отношениях: по количеству населения и уровню экономического развития, что позволяет ему без особого труда выставить больше полноценных воинов в поле, чем при крайнем напряжении сил Москвы; по площади и богатству хозяйственных угодий (чернозем Волыни, Черниговщины и Киевщины против подзола и суглинка центральных великорусских областей), что позволило ему и впредь увеличивать разрыв с Московией в степени развития производительных сил; наконец, по международному положению, ибо Литву сзади подпирала дружественная и союзная Польша, а за спиной Великороссии была Золотая Орда.

И именно Золотая Орда оставалась злейшим и могущественнейшим врагом русского народа. «Улус Джучи», раскинувшийся от слияния Камы с Волгой на севере до Черного моря, Дербенда в Закавказье (а иногда и до Баку), до северного Хорезма в Средней Азии, включая Ургенч, и от слияния Тобола с Иртышом на востоке до Днестра на западе, — эта огромная держава кочевников могла при необходимости собрать и вооружить большее войско, чем то, что привел на Русь хан Батый.

Только силой оружия могла Русь свергнуть золото-ордынское иго, отстоять против Литвы свою государственную независимость, прогнать крестоносных поработителей, но национальная трагедия состояла в том, что перевес в вооруженной силе был явно не на ее стороне. Помимо того, что каждый из ее главных противников (Золотая Орда и Великое княжество Литовское) располагал значительным численным превосходством перед лицом даже объединенной великорусской рати, помимо этого, такая рать, состоявшая в большей части из народного ополчения, уступала и должна была уступать в смысле *боевого качества* и ордынцам, и литовцам, и Ордену и шведам. Стоит внимательно присмотреться к этой особенности русской истории.

Историк военного искусства Е. А. Разин, сравнивая средневековую Западную Европу с Русью, замечает, что на Западе исход боя «решал лишь один вид войск — тяжелая рыцарская конница. Пехота потеряла свое боевое значение... Только русская пехота в это время сохраняла решающую роль в бою. С ней взаимодействовала конница» (14). Что верно, то верно. Если бы русская пехота, то есть городское и крестьянское ополчение, не принимала на себя главного удара и тяжелой рыцарской конницы крестоносцев, и литовской феодальной конницы, и монголо-татарской конницы, то феодальной коннице русских князей пришлось бы очень туго на льду Чудского озера, и на Куликовом поле, и в боях с литовскими феодалами.

Но означает ли этот сам по себе неоспоримый факт превосходство в бою русской пешей рати над современной ей западноевропейской пехотой? В этом позволительно усомниться. Вот что говорит относительно вооружения русского народного ополчения, основываясь на археологических данных, В. В. Каргалов: «...В погребениях сельского населения — основного контингента, из которого набиралось ополчение, — меч, оружие профессионального воина, встречается очень редко; то же самое касалось тяжелого защитного вооружения. Обычным оружием смердов и горожан были топоры («плебейское оружие»), рогадины, реже копыя. Уступая татарам в качестве вооружения, спешно набранное из крестьян и горожан феодальное ополчение, безусловно, уступало монгольской коннице и в умении владеть оружием» (15). Если даже прибавить к открытому археологами известные из летописи «ножи засапожные», которыми новгородские ремесленники подрезали ноги рыцарским коням и резали самих рыцарей во время Ледового побоища, даже в этом случае русский ратник вряд ли поразил бы импозантностью своих доспехов гражданина итальянского города-республики или члена городской милиции французской коммуны — для них-то, не говоря уже о набравшихся из феодальной челяди кнехтах, стальной нагрудник и меч не были особой редкостью. По качеству вооружения западноевропейская феодальная пехота (кнехты) и городское ополчение по меньшей мере не уступали русской пешей рати, а по уровню боевой

подготовки или, вернее сказать, по полному отсутствию боевых учений были равны ей.

Что касается сельского ополчения, то Западная Европа давным-давно забыла о нем. Знаменитая военная реформа во Франкском государстве, поставившая на место многочисленной пехоты рыцарскую конницу, относится к VIII веку. Во главе нескольких сотен рыцарей Карл Великий разгоняет пешее войско саксов, построенное еще по племенному принципу, и завоевывает Саксонию. В XII веке уже саксонские рыцари, пользуясь качественным превосходством в военном деле, осуществляют свой «натиск на Восток» и истребляют славянские племена лютичей и бодричей. И только польское рыцарское войско останавливает дальнейшую немецкую экспансию.

Веком раньше нормандские рыцари Вильгельма Завоевателя истребляют значительно превосходящую их по численности пехоту англосаксов.

Первое время крестьяне, несмотря на преподанные им рыцарской конницей кровавые уроки, все же по старой памяти пытаются братья за оружие. Хроника, датированная 822 годом, сообщает об одном из таких сражений между франкскими крестьянами и норманнами: «Бесчисленное множество пеших из сел и поместий, собранных в один отряд, наступает на них, как бы намереваясь вступить в бой. Норманны же, видя, что это низкая чернь, не столько безоружная, сколько лишенная воинской дисциплины, уничтожают их с таким кровопролитием, что кажется, будто режут бессмысленных животных». В XI веке французский король еще пробует использовать против мятежных рыцарей крестьянское ополчение, но оно было полностью разбито, и рыцари-победители надругались над попавшими в плен, мстя за их притязание носить оружие.

Но и городское ополчение немногим превосходило по своей боеспособности сельское. В 1347 году Филипп VI Французский публично заявляет, что впредь он поведет в бой только дворян: от горожан мало проку. В рукопашной схватке они тают как снег на солнце; можно пользоваться лишь их стрелками да золотом, чтобы платить жалованье дворянам. Пусть же лучше остаются дома и стерегут своих жен и детей. А для военного дела годятся только дворяне, с детских лет изучившие его и получившие соответствующее воспитание.

В завершение обсуждения сравнительных достоинств пехоты и конницы в средние века приведем выдержки из статей Фридриха Энгельса, написанных им для «Новой американской энциклопедии»:

«К концу X столетия, — указывал Ф. Энгельс, — кавалерия была единственным родом войск, который повсюду в Европе действительно определял исход сражений; пехота же, хотя и гораздо более многочисленная в каждой армии, чем кавалерия, являлась не чем иным, как плохо вооруженной толпой, которую почти не пытались как следует организовать. Пехотинец даже не считался воином; слово *miles* (воин — *Ред.*) сделалось синонимом всадника. Единственная возможность содержать солидную пехоту имела у городов, особенно в Италии и Фландрии... Но и тут мы не видим, чтобы городская пехота имела какое-либо заметное превосходство над толпой пехотинцев, собираемых дворянами и во время сражений всегда оставляемых для охраны обоза» (16).

Русь в этом отношении совсем не служила исключением из общего правила. Всадник-феодал, княжий «муж», стоил в схватке нескольких «мужиков» — так дружинники презрительно называли пеших ратников, набранных по «разрубу» (мобилизации) из крестьян и посадского люда. В 1456 году две сотни московских дворян рассеяли новгородскую рать из пяти тысяч человек. В 1471 году на реке Шелони 4,5 тысячи московского феодального войска разгромили без особого труда сорокатысячное новгородское ополчение (17).

И тем не менее основной контингент русского войска в XIII—XIV веках, то есть тогда, когда решался вопрос о существовании Руси, состоял из пешей рати, крестьянской и ремесленной. Чем же можно объяснить столь странное предпочтение великими московскими князьями неполноценному в глазах и Европы и кочевой Азии роду войск?

А никакого предпочтения и не было. Просто совокупная сила русских феодальных дружин, не уступавших в качественном отношении своим феодальным противникам, была слишком мала, чтобы обойтись без «разруба». Поэтому призыв к оружию «черного люда» был не более, чем отчаянной попыткой спасти положение. Когда же во второй половине XV века Россия вышла из смертельного кризиса, то и она, подобно другим странам Европы, заменила пешее народное ополчение феодальной конницей. И нетрудно понять, почему такая замена могла быть произведена лишь после фактического, если не формального, достижения Московской Русью политической независимости от Золотой Орды, лишь после того, как были поставлены достаточно надежные заслоны, не допускавшие вторжений крупных татарских и литовских сил по крайней мере в срединные области Великороссии.

Создание многочисленного и боеспособного феодального войска имеет в качестве своих экономических предпосылок накопление в достаточном объеме прибавочного продукта, изымаемого у зависимого крестьянства, а также наличие развитого ремесленного производства, поставляющего в соответствующем количестве наступательное и оборонительное оружие. По средневековым нормам требовался труд целой деревни (30 дворов) на содержание одного воина-феодала.

Но много ли на Руси XIII—XIV веков осталось не-разоренных деревень? Много ли — после неоднократного разрушения практически всех русских городов — много ли оставалось в них ремесленного населения, способного ковать оружие? «Русь была отброшена назад на несколько столетий, и в те века, когда цеховая промышленность Запада переходила к эпохе первоначального накопления, русская ремесленная промышленность должна была вторично проходить часть того исторического пути, который был преодолен до Батыея» (18), — такой вывод делает в своем фундаментальном исследовании выдающийся советский историк академик Б. А. Рыбаков. И наконец, значительная, если не большая, часть и без того скудного прибавочного продукта, который давали обнищавшая деревня и отброшенный в своем развитии назад город, шла в виде дани и других поборов и «подарков» в Золотую Орду. Удивительно ли после этого, что Русь, даже исчерпав все возможности мобилизации, могла выставить в поле феодальную конницу, безнадежно уступающую в численности и орденом рыцарям, и дружинам литовских

князей, и, что самое страшное, монголо-татарским ордам. Русь оказалась замкнутой в порочном круге: для того чтобы создать сильное феодальное войско, она должна была освободиться от Золотой Орды, господство которой постоянно подрывало экономическую основу, необходимую для создания такого войска; но, для того чтобы сбросить татаро-монгольское иго и отбиться от других врагов, сильную феодальную конницу уже нужно было иметь.

Попробуем оценить соотношение сил на Куликовом поле. Мамай, готовившийся не к одному сражению, а к тому, чтобы пройти путем Батые по всем русским землям, провел тотальную мобилизацию среди орд, кочевавших на степных просторах между Иртышом и Днестром. Не забыл он обложить «налогом крови» и подвластные Орде итальянские колонии в Крыму, и народы Кавказа. В численном отношении армия кочевников должна была намного превысить русскую рать, в которой по разным причинам отсутствовали новгородцы, рязанцы и нижегородцы. Но главное не в количественном, а в качественном перевесе Золотой Орды: ее войско почти полностью состояло из конницы, а русское самое большее на две пятых (19). Это означало абсолютное превосходство татар в решающем для той эпохи роде войск. Уместно также напомнить, что орды Батые, уже порядком обескровленные в южнорусских землях, тем не менее нанесли сокрушительное поражение польско-немецкому рыцарству в Силезии, затем на реке Сайо опрокинули венгерско-австрийско-французскую рыцарскую армию, гнали ее до самого Пешта и на плечах бегущих ворвались в столицу Венгрии (20).

Теперь против той же Орды стояли не гордые, с головы до ног закованные в железо европейские рыцари, а то самое пешее народное ополчение (составлявшее более трех пятых всего русского войска), которое на Западе третирировалось с полным и, нужно признать, заслуженным пренебрежением. Сюда из городов и весей русской земли пришли не только те, кто и должен был явиться по призыву великого князя, но также и те, кого летопись называет «старыми и малыми», то есть уже перешагнувшие мобилизационный возраст или еще не достигшие его. (Согласно обычаю впервые юношей призывали на Руси к оружию по достижении ими пятнадцатилетнего возраста — это значит, что на Куликово поле вместе с шестидесятилетними стариками вышли четырнадцатитринадцатилетние подростки.) Мало у кого из них на голове был стальной шлем — такую роскошь мог позволить себе лишь зажиточный горожанин. Их грудь была защищена не железным панцирем, а в лучшем случае редкой кольчугой или чаще всего самодельным деревянным щитом. Их руки сжимали рукоятки не боевых топоров, а обыкновенных, плотничьих. Рогатин, правда, уже видно не было — Москва загодя выковала достаточно сулиц и копий и раздала перед походом всем безоружным ратникам; второй ряд Большого полка, по свидетельству летописца, положил более длинные копы на плечи переднего, который был вооружен копыями с коротким древком, сулицами.

От такого приема, впрочем, лапотная рать совсем не стала походить ни на македонскую фалангу, ни на римский легион, ни на «баталию» испанских копейщиков эпохи Возрождения. Для того чтобы сколь-либо надежно прикрыться копыями от атакующей конницы, недостаточно было выставить их вперед; требовалось также, чтобы между ними не оставалось ни единого зазора, куда мог бы врваться всадник. А последнее требование предполагало систематическую строевую подготовку, которую проходили наемники в древности и наемники на заре Нового времени, но которая в силу известных социально-экономических причин оставалась невозможной в течение всех средних веков как в Западной Европе, так и на Руси.

Вторая предпосылка победы пехоты над кавалерией, как учит история военного дела, состоит в заблаговременном и массивном воздействии на приближающуюся конницу оружием дальнего боя (каменными пращами, катапультами и баллистами, стрелами, ядрами и картечью, пулями и т. д.). Но и в этом отношении татарские всадники, прекрасные стрелки из лука, имели решающий перевес над русскими. Летопись не упоминает о наличии особых подразделений русских пеших лучников. При плотном построении, в котором стоял Большой полк, вести прицельную стрельбу из лука можно было лишь первым двум рядам, но они, как известно, были вооружены копыями.

И наконец, последняя надежда пехоты на спасение заключается в особенностях местности, препятствующих успешному применению конницы. Однако Куликово поле давало Мамаю полную возможность для фронтальной конной атаки против пешего в своем основном составе Большого полка (21).

Ни первого, ни второго, ни третьего условий, дающих пехоте шансы на успех в борьбе против конницы, у русского народного ополчения не было. Перейдя Непрядву, оно обрекло себя на гибель.

Неужели с таким-то воинством Дмитрий Иванович думал одержать победу над полчищами Мамае? В это трудно поверить. Но самое невероятное в том, что эта победа в самом деле была одержана: слабейшая по всем статьям сторона нанесла сокрушительное поражение сильнейшей, причем именно пешая народная рать внесла главный вклад в общую победу.

Проще всего приписать невероятный исход Мамаева побоища какой-нибудь случайности из рода тех, которыми западные историографы привыкли объяснять любую победу России (непредусмотрительность Карла XII, насморк Наполеона при Бородине, неожиданные морозы, остановившие натиск солдат Гитлера на Москву, и т. п.). Однако при внимательном изучении русской истории число таких невероятных событий резко возрастает, и обобщенное понимание их требует либо создания некоей «теории невероятностей», автоматически подыскивающей соответствующую случайность для интерпретации любого исторического факта, либо нахождения такой точки зрения, с которой невероятное представляется уже вероятным, закономерным и даже необходимым.

По второму пути, по пути исторического детерминизма, мы и пойдем, памятуя при этом, что наблюдательно событие представляется невероятным тогда и только тогда, когда он упускает из своего поля зрения некий важный фактор, участвовавший в предопределении события. Стоит отыскать утерянный фактор, принять в расчет некую величину x , как алогизм устраняется сам собой и все встает на свои места.

Исторический парадокс, заключающийся в том, что русская рать на Куликовом поле не могла победить и все же победила, является всего лишь частным выражением более общей исторической проблемы.

Русь слабее своих противников в XIII—XIV веках; Россия, стремящаяся выйти к морю, слабее их и в XVI-XVII веках. Слабость и отсталость ее экономической оазы предопределяют качественную отсталость ее оружейных сил (народное ополчение против феодальной конницы Орды, Литвы, Ордена и Швеции; поместная феодальная конница плюс полурегулярные полки стрельцов против регулярных наемных армий Речи Посполитой и Швеции). В обоих случаях только военное решение могло разорвать пути, сковавшие экономический рост страны, и обратно — только преодоление экономической отсталости делало военное решение возможным. И в обоих случаях произошло невозможное: Русь в XV веке свергла золотоордынское иго, а Россия в XVIII вышла к берегам Балтики.

Спрашивается, какой же неизвестный фактор, какая скрытая величина действовали здесь? Что позволило Русскому государству дважды разжать, а потом и разорвать сдавливавший его порочный круг? Иными словами, каким был ответ Москвы на тот исторический вызов, который по необходимости вынужден был принять русский народ?

ОТВЕТ МОСКВЫ



ОТВЕТ МОСКВЫ



«(Московское государство) было делом народности, образовавшейся в XV веке в области Оки и верхней Волги. Народность эта образовалась по отступлению старинного русского населения в глубь нашей равнины с южных и юго-западных окраин перед торжествующими врагами. Разделенная политически, угрожаемая гибелью со всех сторон и с одной уже раз завоеванная, эта народность начала устроиться в обширный лагерь. Средоточием этого лагеря стал центральный город тогдашней Великороссии, а вождем князь этого города. Все национальные, церковные, экономические и другие условия, содействовавшие государственному объединению Великороссии, связались с судьбой Москвы только потому, что она была таким центральным городом боевой Великороссии XIV—XV вв. только благодаря ее стратегическому отношению к тогдашнему театру военных действий... Московское государство и было этим народным лагерем, образовавшимся из боевой Великороссии Оки и верхней Волги и борющимся на три фронта — восточный, южный и западный. Оно родилось на Куликовом поле, а не в

скопидомном сундуке Ивана Калиты» (1). Так в свое время объяснил сплочение русских земель вокруг Москвы известный историк В. О. Ключевский.

В одном нельзя согласиться с ним: своим возвышением Москва обязана не только удобному стратегическому положению. Помимо этого, с самого своего основания она обладала некоторыми особенностями, выделившими ее из ряда других русских городов и позволившими ей стать столицей.

Первый поток славянской колонизации обошел стороной заросшую лесной чащобой, болотистую, неудобную для земледелия пойму Москвы-реки и устремился далее на восток, где дал начало Ростово-Суздальской земле.

Вторая русская миграционная волна, поднятая в Приднестровье половецким натиском, также в основном переливается через эти забытые богом места и идет далее по уже известному руслу. Однако ее «брызги», отдельные русские поселения, остаются, что и кладет начало хозяйственному освоению края.

Москва-река служит рубежом Владимиро-Суздальской земли и здесь, на месте будущей русской столицы, Андрей Боголюбский для защиты границ поселяет несколько сот пленных венгров, а также русский полон, выведенный им из Киевщины. Первые московские князья, далеко еще не великие («Кто думал, гадал, что Москве царством быти?»), более походят на командиров погранзаставы, чем на владетельных государей (2).

«Следя по летописям за первыми судьбами Москвы, — отмечал русский историк С. Ф. Платонов, — мы прежде всего встречаем ее имя в рассказах о военных событиях эпохи. Москва — пункт, на который прежде всего нападают враги суздальско-владимирических князей. Москва, наконец, исходный пункт военных операций суздальско-владимирского князя... Цель обороны с юга преследовалась, вероятно, и построением города Москвы» (3).

Когда в московские дремучие леса и болота хлынули, спасаясь от татаро-монголов, остатки разгромленного и истребляемого народа, московский князь без всяких условий отводил смердам земли с угодьями, давал зерно «на семена и емена», помогал обзавестись рабочим скотом и инвентарем. И точно так же он без всяких предварительных условий возвращал ратным людям, дружинникам погибших князей, оружие и честь, ставя их снова в строй, и давал им «в кормление» новозаселенные волости.

Гражданский быт должен был подчиниться правилам гарнизонной службы. В любой час дня и ночи «княжие мужи» должны быть готовы вскочить в седло и взяться за оружие, а посадский люд — бросить свои дома и мирные занятия, чтобы выступить «полком» в поход. Нравы людей границы, их привычка к беспрекословному выполнению княжеского приказа, их беззаветная верность знамени надолго оставят свою печать на духовном облике растущей Московии.

В трех небольших словах «без всяких условий» и заключено очень большое различие между Москвой и древнерусскими городами. Киев, Новгород, Полоцк, Смоленск, Чернигов, Ростов Великий, прежде чем стать стольными градами княжеств, были центрами славянских племенных союзов. Они и оставались политическим средоточием киевской, новгородской, полоцкой и т. д. «земли», то есть более или менее обширной территории, заселенной первоначально данным племенем, с их «пригородами» и сельскими волостями. Там существовало местное боярство, выросшее на собственном корню и превратившееся из племенной знати в феодальную. Там городская община составляла свою, независимую от князя вооруженную силу, «полк», во главе с выбранным на вече «тысяцким». При таком положении отношения между князем и «землею», или, вернее сказать, с представлявшим ее городом, должны были складываться на договорной основе. В ту эпоху, когда французские города делали первые робкие шаги к коммунальному самоуправлению, а английские под тираническим гнетом прямых потомков Вильгельма Завоевателя, а затем и анжуйской династии и мечтать не смели еще о Великой хартии вольностей, — в эту эпоху русские города «рядились» со своими князьями как с равными, устанавливая в договоре с ними, «ряде», обязательства и права каждой из сторон. Причем пользование правами обуславливалось выполнением обязательств. Вот почему новгородцы, называя, скажем, Александра Ярославича Невского своим братом, могли распахнуть перед ним городские ворота и вежливо заявить, что перед князем «путь из Великого Новгорода чист», когда он, бывало, проявлял свой крутой нрав.

Для москвичей же внук Александра Невского, Иван Калита, был отнюдь не «братом», но «отцом родным» и «князем-батюшкой». Здесь не было «земли» (выражения «московская земля» не встретить в летописях), не было политической организации горожан, ограничивавшей княжескую власть. С самого начала отношения между московским князем и обитателями его вотчины носили не правовой, а патриархальный характер; патриархальные же отношения делали какие-либо условия совершенно излишними. Новгородцы князю с дружиной за верную военную службу обеспечивали совсем безбедную жизнь, но вот что важно: в договоре точно устанавливалось, какие именно волости отводятся им «в кормление», а обычай также достаточно определенно указывал, сколько хлеба, мяса, льна, меда и денег можно получить с каждой из волостей. Московский же князь-вотчинник совсем не стремился к такого рода определенности в своих хозяйственных отношениях с пришлыми смердами: он предоставлял им материальные средства к обзаведению двором на новом месте без условий, «по-отечески», но зато и обирал с них подати по своей воле. Крестьянство, стекавшееся к Москве из всех разоряемых русских земель, попадало под значительно более тяжкий феодальный гнет, но мирилось с ним, поскольку обретало здесь относительную безопасность.

Возможность же получения более высокой чем в других местах, феодальной ренты привлекала в Москву и боевую силу боярства, вырванного с корнем из родных мест и рассеянного в результате частых татарских нашествий по всей Руси. Боярин из сожженного Киева, воевода, потерпевший поражение от татар в далекой Волыни, мелкий удельный князь, которому не стало чем кормиться в разоренной Рязанщине, шли «бить челом в службу» московскому князю. И если раньше в Древней Руси, как и в Западной Европе, вступление мелкого

феодала на службу крупному сопровождалось заключением договора, письменного или устного между вассалом и сюзереном, то теперь в Москве в обстоятельствах исключительных оставшийся без крестьянского труда и крова «вольный слуга» не слишком настаивает на такого рода формальности. Он просто «целует крест» в верности московскому князю и уповает на то, что тот «пожалует» его за верную службу. Об условиях этой службы опять обе стороны по разным причинам говорить избегают, а за этой неопределенностью скрывается большая требовательность княжеской власти к своим феодальным слугам. Московский князь действительно щедро жаловал своих вассалов кормлениями и даже вотчинами, располагая более обширным фондом заселенных и свободных земель, чем его соперники, но зато он заставлял их принимать исконные обычаи приграничной крепости, согласно которым «служба копьем и головой» являлась *безусловным* долгом. Ее и несли, не спрашивая платы, бессечно, до последней капли крови.

Именно потому, что Москва была исключением среди других русских городов, ей удалось среди всеобщей удельной раздробленности, в обстановке, по выражению А. Е. Преснякова, «агонии великокняжеской власти» (4) создать крепкое политическое ядро, вокруг которого позднее произошло государственное объединение Великороссии. Русь, загнанная было в Окско-Волжское междуречье, становится Московской, то есть перестраивается по-московски, чтобы, сомкнув ряды, выступить из этого междуречья в свой долгий и дальний поход. Таким образом, московское исключение превращается в общерусское правило политической жизни.

«Московское государство, — пишет В. О. Ключевский, — зарождалось в XIV в. под гнетом внешнего ига, строилось и расширялось в XV и XVI вв. среди упорной борьбы за свое существование на западе, юге и юго-востоке... Оно складывалось медленно и тяжело. Мы теперь едва ли можем понять и еще меньше можем почувствовать, каких жертв стоил его склад народному благу, как он давил частное существование. Можно отметить три его главные особенности. Это, во-первых, боевой строй государства. Московское государство — это вооруженная Великороссия, боровшаяся на два фронта... Вторую особенность составлял тягловый, неправовой характер внутреннего управления и общественного состава с резко обособившимися сословиями... Сословия различались не правами, а повинностями, между ними распределенными. Каждый обязан был или оборонять государство, или работать на государство, то есть кормить тех, кто его обороняет. Были командиры, солдаты и работники, не было граждан, т. е. гражданин превратился в солдата и работника, чтобы под руководством командира оборонять отечество или на него работать. Третьей особенностью московского государственного порядка была верховная власть с неопределенным, т. е. неограниченным пространством действия...» (5)

Сам Ключевский и многие другие представители буржуазной русской историографии на основании отмеченных выше особенностей строили теорию «государева тягла и службы», согласно которой развитие русского государства определялось исключительно нуждами обороны, а не классовой борьбой. Взгляд на царизм как на учреждение, носившее надклассовый характер и проводившее внесословную политику, как нельзя лучше согласовывался с кадетской программой «либерализации и модернизации» этого учреждения в 1905 — 1917 годах.

Белоэмигрантская историческая школа «евразийцев», продолжая в некоторых отношениях традиции буржуазной дореволюционной историографии, вместе с тем резко порвала с концепцией «государева тягла и службы», дав совсем иную интерпретацию особенностей московского государственного строя: «Московское государство возникло благодаря татарскому игу, — утверждал видный «евразиец» Н. С. Трубецкой в статье «О туранском элементе в русской культуре». — Русский царь явился наследником монгольского хана: «свержение татарского ига» свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. Произошло обрусение и оправославление татарщины, и московский царь оказался носителем этой новой формы татарской государственности» (6). «В исторической перспективе то современное государство, которое можно назвать и Россией и СССР, есть часть великой монгольской монархии, основанной Чингисханом» (7), — писал единомышленник Трубецкого, скрывший свое имя под псевдонимом И. Р.

Само «евразийство» как идейное течение оказалось весьма эфемерным и окончательно исчерпало себя к концу двадцатых годов, однако его плоды не только заботливо собирались нацистской пропагандой, провозгласившей Германию «бастионом Европы против большевизма и азиатских орд русских», но и доньше служат наиболее пикантной духовной пищей для наиболее откровенных в своей русофобии направлений советологии. Тезис об «азиатской деспотии» русских царей от частого повторения принимается за аксиому, очень удобную в качестве трамплина для прыжков в современность. А «левое» крыло советологии и славистики, кокетничающее своим знакомством с марксистской терминологией, даже «открыло» в Московской Руси... «азиатский способ производства!» (8)

Вот почему нам важно вернуться к положению Ключевского об особенностях Московского государства, критически пересмотреть его, удержать содержание, имеющее непреходящую научную ценность, и отбросить наслонения буржуазно-либеральной идеологии.

Прежде всего идилличная картина разделения труда между «солдатом» (воином-феодалом) и «работником» (свободным смердом, а позднее крепостным крестьянином) скрывает факт феодальной эксплуатации и угнетения первым второго. Равное подчинение «солдата» и «работника» воле «командира», то есть московского государя, было не столь уж равным, поскольку направление и сила командирской воли всякий раз определялись сложением волеи «солдат», то есть различных фракций феодального класса, и в гораздо меньшей степени пожеланиями и нуждами «работников», если говорить точнее, именно в той степени, в какой «работники» в ходе классовой борьбы умели заставить «командира» считаться с их нуждами и пожеланиями. Функция общенациональной обороны, столь рельефно выступающая у московской державы, совсем не меняет сущности государства как орудия классового господства и угнетения.

Далее. «Верховная власть с неопределенным, т. е. неограниченным пространством действия...», несомненно,

была одним из главных свойств московского государственного порядка, но было бы неверно рассматривать ее как особенность, то есть как черту, выделяющую Россию из ряда других европейских государств. Власть с неограниченным пространством действия — это не национальная особенность, а сущность всего европейского абсолютизма. Филипп II и Людовик XIV представляли собой тип европейского монарха несколько не менее абсолютного, чем московские цари, а Карл I Стюарт даже накануне казни продолжал в споре со сторонниками парламентаризма отстаивать принцип монархической власти с неограниченным пространством действия.

Если у Ключевского принятие свойства за особенность имело характер скорее неточности, поскольку он не проводил сравнения между русским государством и другими европейскими державами, то под пером современных западных историографов России это уже более чем ошибка: это прием очернения и клеветы. Так, ни один сколь-либо пространственный экскурс в историю Московии не обходится без ссылки на записки о ней барона Герберштейна, побывавшего при дворе Василия III в качестве посла германского императора дважды — в 1517 и в 1526 годах. Очень часто приводится и выдержка из этих записок, где германский дипломат характеризует власть московского государя:

«Властью, которую он применяет к своим подданным, он легко превосходит всех монархов всего мира; и закончил он также то, что начал его отец, а именно отнял у всех князей и других владетельных лиц все их города и укрепления; всех одинаково гнетет он жестоким рабством, так что, если он прикажет кому-нибудь быть при его дворе или идти на войну, или править какое-либо посольство, тот вынужден исполнять все это на свой счет; он применяет свою власть к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех» (9).

Слова «всех одинаково гнетет он жестоким рабством... распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех» выделяются западными историографами курсивом, и дальше начинаются их псевдоглубокомысленные рассуждения о принципиальном различии европейской монархии и русской; о том, что последняя, будучи наследницей татарских ханов и византийских басилевсов, являла собой яркий пример азиатской деспотии; о «цезарепапизме» московских государей, подчинивших светской власти духовную и добившихся на этой основе их слияния, и т. д. Заодно приводятся также свидетельства английских купцов второй половины XVI века о том, что в Московии «черные» сословия задавлены тяглом, что правительство по собственному разумению, не встречая никакого сопротивления, увеличивает старые подати и вводит новые. Из всего этого делается вывод об искренней любви русского народа к рабскому состоянию и о том, что Россия была азиатской державой.

Характерно, однако, то, что ни один из современных западных псевдоисториков России, цитирующих рассказы о ней европейских путешественников, никак не сопоставляет эти рассказы между собой, не подвергает их научному анализу. Это, впрочем, и понятно: объективный научный анализ привел бы исследователя к заключениям, очень отличным от тех, что диктуются заранее поставленными политическими целями. Доказывают только то, что и требуется доказать.

Проведем же некоторые сопоставления сами. Германский барон усматривает особую тиранию московских государей в том, что они (Иван III и Василий III) отняли «у всех князей и других владетельных лиц все их города и укрепления», в том, что бояре должны были оставаться при дворе или отправляться в посольство за свой счет, в том, что власть великого князя распространялась не только на мирян, но и на церковь. Однако ни один из английских купцов не подтверждает этих упреков. А французский дворянин Маржерет, побывавший в качестве наемника на русской военной службе, не разделяет негодования англичан по поводу чрезмерных налогов, отягощающих купечество и крестьянство. В чем же тут дело?

Дело в том, что каждый иноземец наблюдал Россию со своей национальной и социальной точки зрения, отмечая в первую очередь как раз те черты, которые составляли контраст положению в его собственном отечестве. То, что политическая карта Германии в XVI веке вполне походила на лоскутное одеяло, сшитое белыми нитками из фактически независимых феодальных владений; то, что в ней города и замки принадлежали князьям и более мелким владельцам; то, что католическая церковь и духовенство подчинялись не императору, но папскому престолу, и, конечно, то, что путевые расходы и издержки на дипломатическое представительство покрывались не из личного кармана посла, а за счет императорской казны, — все это, понятно, представлялось барону Герберштейну естественным и справедливым, а противоположные германским русские порядки чем-то чудовищным и деспотичным. Представители же более передовой Англии, уже вступившей в период абсолютизма, воспринимали как само собою разумеющееся именно те черты Московии, которые особенно сильно шокировали немецкого дипломата. И опять-таки по вполне понятным причинам: Генрих VII Тюдор (1485—1509) не только захватил все «города и укрепления», принадлежавшие ранее феодальной знати, но и приказывал в ряде случаев разрушать стены рыцарских замков, а Елизавета I после подавления феодального мятежа в 1569 году окончательно завершила дело своего деда. Россия ту же задачу решила несколько раньше — при Иване III (1462—1505). Генрих VIII в 1534 году рвет отношения с папским Римом, провозглашает себя посредством парламентского акта главой англиканской церкви и тем самым начинает «применять свою власть к духовным так же, как и к мирянам», говоря языком Герберштейна. В России тот же, по сути дела, процесс отделения русской национальной церкви от вселенской православной, разрыв связей с константинопольской патриархией и упрочение фактического, если не формального, главенства великого московского князя в церковных делах происходит веком раньше, после отказа присоединиться к Флорентийской унии (1439 г.). Не только русские бояре, но и английские аристократы эпохи Тюдоров за свой счет выполняли и придворные и дипломатические функции; знаменитый Уолсингем, посол Елизаветы I при французском дворе, даже разорился на создании английской секретной службы в общеевропейском масштабе. Что-то не видно пока специфически азиатских свойств в московском государственном устройстве.

Как?! А возможность московских государей «распоряжаться беспрепятственно и по своей воле жизнью и

имуществом всех» — разве эта особенность России не выделяет ее из Европы и не переносит в Азию? Вместо ответа стоит, пожалуй, открыть исследование Ипполита Тэна, посвященное «старому порядку» во Франции. «По средневековым преданиям он (король) есть повелитель и собственник Франции и французов... Франция принадлежит им (королям) точь-в-точь так, как какое-нибудь поместье принадлежит своему владельцу... Основанная на феодальном вотчинном праве, королевская власть... представляет не что иное, как наследственную собственность...» (10) При всем желании, если только сохранить минимум объективности, нельзя обнаружить сколь-либо принципиальное различие в объеме и содержании власти, выросшей из домена первых Капетингов в Иль-де-Франс и из вотчины потомков Калиты. И степень обложения податных сословий, в частности, вряд ли была в королевской Франции ниже, чем в царской России. «Вследствие чрезвычайности и произвольности своих денежных претензий казна делает всякое владение ненадежным, всякое новое приобретение напрасным и всякое сбережение смешной глупостью, потому что народ пользуется в действительности только тем, что ему удастся утаить от казны» (11), — эти «азиатские черты» проявляются на берегах Сены и Луары с не меньшей отчетливостью, чем в Окско-Волжском междуречье.

Итак, «своеобразие» Московии в большинстве случаев оборачивается свойствами, роднящими Россию с той или иной западноевропейской страной. Это и понятно: вся Европа, от Атлантики до Волги, в течение средних веков прошла, раньше или позже, через одни и те же этапы развития феодального способа производства и соответствующие этим этапам формы государственного устройства. Разумеется, в рамках единого способа производства могли быть и были значительные вариации (так, крепостное право окончательно исчезло в Англии уже в XIV веке, в Германии оно возродилось в XVI веке и просуществовало вплоть до наполеоновских войн, а в Норвегии феодальная зависимость крестьянства никогда не превращалась в крепостное состояние) но как бы ни велики были эти расхождения, они являли собой вариации на одну тему. То же самое следует сказать и относительно государственно-правовой надстройки.

Понятно также и то, почему ни Киевская Русь ровно ничего не приобрела в смысле своего государственного порядка от близкого соседства с хазарами, печенегами и половцами, ни Московская от своего подчинения Золотой Орде. Хазарская держава, объединения печенежских и половецких племен под властью одного хана, Золотая Орда, как и вся империя Чингисханидов, даже на вершине своего военного могущества оставались всего лишь примитивными государственными формами кочевого феодализма, а кочевой феодализм в отличие от оседлого представляет собой тупик на пути социального развития. Возникновение городов, этих центров цивилизации, повсеместно происходило из отделения ремесел от земледелия, но, для того чтобы у кочевого народа ремесла выделились из скотоводства, он должен осесть на землю, перестать быть кочевым. Если такой опыт ему удастся, то он выходит из тупика и подобно другим оседлым народам создает свою государственность и культуру. История арабского халифата и великой арабской цивилизации служит тому наиболее ярким примером; не случайно арабы обозначили одним словом «хадара» и оседлое состояние и цивилизацию, противопоставив ему понятие «бадия» — кочевничество и пустыню. Но если переход к оседлости не происходит, то не находится места и разделению труда внутри кочевого общества; отсутствие же сколь-либо развитых ремесел делает невозможным и интенсификацию скотоводства. Оно может развиваться лишь экстенсивно, вытаптывая поля земледельческих народов и превращая их земли в пустыню. Застойный характер производительных сил и производственных отношений в кочевых объединениях типа Золотой Орды делает невозможным дальнейшее развитие государственности, материальной и духовной культуры. Можно было согнать в Сарай ремесленников из Руси и Хорезма, можно было заставить их трудиться на татарского хана, но невозможно было ввести их труд в качестве органического элемента в кочевой быт, и к тому же кнут, как известно, очень плохой стимул к повышению производительности труда. Были арабские философы половецкого или вообще тюркского происхождения, но никогда не было половецких или татаро-монгольских философов, правоведов, теоретиков государственного устройства. Москва, очень охочая, вообще говоря, к перенятию ценного заграничного опыта, ничего не взяла у Золотой Орды просто потому, что там нечего было брать.

Следует ли, однако, из того, что очень многие «оригинальные» черты Московии при достаточно внимательном рассмотрении заметно теряют свою экзотичность, «азиатскую» окраску и «исконно русский» аромат, — следует ли из этого факта полное отсутствие какого-либо своеобразия в русской истории? Конечно, не следует. История Московской Руси, как и всякой другой европейской страны, являет собой вариацию в границах единой общественно-экономической формации и в качестве таковой должна иметь действительно специфичные, своеобразные, действительно неповторимые черты. Какие же именно?

В том, что касается московского государственного строя, существеннейшая из них выделена Ключевским. Повторим еще раз его формулировку: «...Тягловый, неправовой характер внутреннего управления... Сословия различались не правами, а повинностями, между ними распределенными». В этом русский историк прав, это в самом деле особенность Московского царства, как прав он и в том, что обнаружил существенную связь между этой особенностью и «боевым строем» Великоорусского государства.

Собственно говоря, любое западноевропейское государство выходило как дуб из желудя из королевской дружины (скары), носило вплоть до буржуазной революции более или менее явный отпечаток военного происхождения и сохраняло свой боевой характер. Отличие великого княжества Московского от королевства польского или французского не в существе «боевого строя», а в степени его воздействия на все стороны жизни общества. Однако различие в степени само по себе оказалось весьма существенным.

Вспомним, что Москва, едва выступив в качестве политического центра всей Великооруссии, столкнулась одновременно с несколькими противниками, из которых по крайней мере двое (Великое княжество Литовское и Золотая Орда) превосходили ее и по наличной боевой мощи, и еще больше по своему военному потенциалу. Чтобы

как-то уравновесить силы, Московское государство должно было гораздо полнее мобилизовать и людские ресурсы, и материальные средства русского общества, чем это могли позволить себе соседние державы.

Реализация же военного потенциала сверх обычной нормы (обычной для остальной Европы) в течение нескольких веков предполагала, во-первых, сосредоточение политической власти, необходимой и достаточной для того, чтобы брать у народа и правящего класса столько труда и крови, сколько нужно для достижения жизненно важных целей; и, во-вторых, устранение всех и всяких правовых ограничений, которыми в обычных условиях сословия феодального общества ограждают свои интересы от посягательств монархической власти.

Во избежание возможных недоразумений повторим еще раз: и Западная Европа в конце концов сосредоточила в руках своих монархов абсолютную власть, и она при переходе от сословно-представительной монархии к абсолютной разрушила права сословий, отменила вольности городов и самоуправление провинций («земель»). В этом Россия далеко не оригинальна. Ее своеобразие в другом: в том, что, отставая от Запада в своем экономическом развитии, она сумела обогнать его в степени концентрации государственной власти. Вотчинная монархия Ивана III могла выставить большую феодальную армию и держать ее дольше под знаменами, чем любая сословно-представительная монархия Европы. Сословно-представительная монархия Ивана IV не уступала в этом смысле любой абсолютной монархии Запада, а абсолютизм Петра I, безусловно, превосходил ее. Вот почему теоретик абсолютизма во Франции Жан Воден уже в XVI веке смотрит на Россию как на пример для подражания и призывает изучать историю «московитов, которые победоносно продвинулись до Волги и до Дона, и до Днепра и недавно завоевали Ливонию» (12). Абсолютизм, как известно, соответствует мануфактурному периоду производства и предполагает в качестве своей экономической базы уже сложившийся национальный рынок и достаточно высоко развитое денежное хозяйство. Эти условия были в наличии во Франции в XVI веке, а в России появились только в XVII столетии, между тем как Иван III, государь-вотчинник, ведет себя уже в XV веке по отношению к вольным городам, Новгороду и Пскову, и к удельным князьям совсем так, как будут третировать коммунальные и областные вольности, а также права феодальной знати западноевропейские абсолютные монархи.

Чтобы понять причину столь необычного ускорения социально-политических процессов при относительной отсталости экономической основы, нужно принять во внимание прежде всего «точку начала отсчета» возвышения Москвы. Это была эпоха полной феодальной раздробленности, поддерживаемой извне господством Золотой Орды. «Натравливать русских князей друг на друга, поддерживать несогласие между ними, уравновешивать их силы, никому не давать усиливаться, — все это было традиционной политикой татар» (13), — говорит К. Маркс.

Неудивительно, что традиционная политика Москвы шла в противоположном направлении, встречая при этом поддержку всех социальных слоев русского народа — от феодального боярства, покидавшего дворы удельных князей ради службы московскому государю, до простых смердов, решивших исход битвы на Куликовом поле. «...В России, — замечает Ф. Энгельс, — покорение удельных князей шло рука об руку с освобождением от татарского ига» (14). И именно по этой причине великие московские князья сумели покончить с уделами и создать политически сплоченное русское государство, несмотря на то, что отдельные его области, «земли», продолжали еще в течение двух веков жить самодовлеющей, обособленной одна от другой экономической жизнью. Политическая централизация при экономической децентрализации — это действительно особенность русской истории XV—XVI веков.

«Сосредоточение всей власти в руках московского государя достигнуто путем фактической ломки и принципиального отрицания силы обычного права (подчеркнуто мной. — Ф. Н.) в пользу вотчинного самодержавия» (15) — так заключает А. Е. Пресняков свой капитальный труд «Образование Великоорусского государства». Обычное право феодальной Руси в общем и целом совпадает с обычным правом всей феодальной Европы. Ломая его, московские государи выводят Россию из тупика и ведут ее по новому, неизвестному ранее пути. Новгородцы после поражения от москвичей на берегах Шелони согласны на все уступки, но хотят зафиксировать их в договоре, на соблюдении которого поцелуют крест и они и великий князь. Но именно договора не хочет Иван III. Он принципиально отрицает договорную, *правовую* основу отношений между великокняжеской властью и подданными и требует распространения московских порядков и на Новгород: «...Хотим государства в своей отчине Великом Новгороде такова, как наше государство... на Москве». Дальше следовало разъяснение, что отныне вечевому колоколу не быть, посаднику не быть, а «государство все держать» великому князю.

Разумеется, московские государи — узурпаторы, попирающие ногами общепринятые доселе правовые нормы. Отрицаются притом не только права земель, сословий, но даже и в первую очередь само вотчинное право, регулирующее отношения внутри великокняжеской семьи. В 1491 году Иван III заключает своего брата Андрея Васильевича в тюрьму, где тот позднее и умирает. Митрополит приходит к великому князю и «печалуется» о заключенном, просит освободить его. Сам Иван Васильевич в это время опасно болен и готовится, как и всякий религиозный человек, предстать перед «судом господним». Тем более искренен его ответ-самооправдание: «Жаль мне очень брата, и я не хочу погубить его... но освободить его не могу. Иначе, когда умру, будет искать великого княжения над внуком моим, и если сам не добудет, то смутит детей моих, и станут они воевать друг с другом, а татары будут русскую землю губить, жечь и пленить, и дань опять наложат, и кровь христианская опять будет литься, как прежде, и все мои труды останутся напрасны, и вы снова будете рабами, татар» (16).

В этих словах объяснение того, почему Русь *безусловно* подчинилась требованиям Москвы. В начале объединительного периода, в XIV веке, Великооруссия состояла из великих княжеств: Московского, Тверского, Нижегородского и Рязанского, а также из владений вольных городов Новгорода и Пскова (Смоленская земля и большая часть Чернигово-Северского княжества были поглощены Литвой). Каждое из великих княжеств являло собой сложную систему из удельных княжеств, с одной стороны, а с другой — признавало, по крайней мере

номинально, политическое верховенство владимирского князя, который носил титул «великого князя всея Руси». Иван Калита и его потомки, захватив ярлык на великое княжение Владимирское, стали вести себя как «великие князья всея Руси», то есть проводить не узкомосковскую, а широкую общерусскую политику. Нижний Новгород и Рязань лицом к лицу с татарами, Тверь — с Литвою, Псков — с Орденом, Великий Новгород — с Орденом и Швецией не имели возможности самостоятельно выстоять перед напором превосходящих сил противника, все они поэтому обращаются за помощью к Москве, к этому новому центру великого княжества Владимирского. Москва никому в помощи не отказывает, но требует взамен участия боевых сил каждого из княжеств в общем деле защиты всей русской земли, откуда бы ни исходила опасность в следующий раз. Тверское, рязанское, нижегородское боярство со своими ратными людьми приучается ходить в походы под московским знаменем и смотреть на московского князя как на своего вождя, как на государя над их государями. Но рано или поздно удельные князья замечают, что власть как-то незаметно ускользает из их рук, и делают попытку вернуть ее ценой сговора с Литвой (тверской князь) или с татарами (рязанский) — и тогда происходит то, что и должно было произойти: тверские и рязанские бояре, пользуясь правом вольного отъезда, отхлынули ко двору московского князя, оставив своих прежних князей без боевой силы, лишив их необходимой основы для властвования. Плод созрел — Москва с ее суровыми порядками становится повсеместно необходимым условием существования каждой из русских земель.



Будет твой град Москва царству
 щий град великое Российское
 государство и овладеет по вожи
 волн многими грады и царствы
 и ордами распространится
 наипаче всех царств

Ни одно западноевропейское государство не вело сколь-либо продолжительной борьбы против коалиции держав, не потерпев в конечном счете поражения. Войны Людовика XIV, Фридриха II, Наполеона — наиболее яркие тому примеры.

И ни одно западноевропейское государство — за исключением разве что Польши — не вело оборонительных войн в столь неблагоприятных географических условиях, как Россия. В Западной Европе страны разделены «естественными границами» — горными цепями, в которых достаточно перегородить дефиле и перевалы замками и крепостями, чтобы малыми силами обеспечить безопасность государства от внезапного вторжения. Равнинная Россия открыта для нашествия со всех сторон.

Ответом Москвы стало беспримерное по своему размаху, упорству и планомерности строительство крепостей и других военно-инженерных сооружений. Только при Грозном согласно известию англичанина Горсея было построено 155 крепостей, 40 каменных церквей и 60 монастырей (17). Не следует при этом преувеличивать чисто религиозную сторону и недооценивать оборонное значение культовых зданий. Печерский монастырь к началу Ливонской войны был окружен стеной вышиною в 5 сажен, в окружности 380 сажен (напомним, что сажень равна 2,13 метра), с 9 боевыми башнями. По описи же конца XVII века в нем значилось 428 пищалей и самопалов, пороху 196 пудов, ядер 2265, 18 корыт свинцовых слитков и т. д. (18). Ни польский король и прославленный полководец Стефан Баторий, ни генералы Карла XII так и не смогли, несмотря на все старания, овладеть монастырскими укреплениями. Не все монастыри являли собой, подобно Печерскому, первоклассные крепости, но крепостями были они все. Особую роль они играли в «пустынях» — необжитых, слабозаселенных местах, имевших тем не менее важное стратегическое значение; туда послушная государю церковь посылала иноков, и монахи среди дикого величолепия девственной природы и на вероятном направлении вражеского удара сооружали тихую обитель с мощными фортами, башнями, арсеналом, провиантским складом, а иногда даже с банями и кабаками. Последние были если и не обязательны, то весьма желательны в скучном гарнизонном быту для стрельцов и детей боярских. Такая «пустынь» обычно с какой-нибудь своей «чудотворной иконой», привлекавшей издали толпы богомольцев, становилась, как правило, опорным пунктом крестьянской колонизации края, продолжая выполнять свое основное назначение операционной базы государевых полков (19).

Географическая карта Московии XV—XVII веков показывает столицу в центре расходящихся кругов, состоящих из цепи крепостей, причем каждый круг отмечает новый успех в контрнаступлении Великороссии. На северо-западе и западе, где приходилось отражать натиск регулярных армий Швеции и Речи Посполитой с их тяжелой осадной артиллерией, крепости одевались прочным каменным панцирем. Они отстояли одна от другой на расстояние однодневного перехода пешего войска, что давало их гарнизонам возможность перерезать коммуникации противника, если бы он осмелился, обойдя крепости, вторгнуться в глубь русской земли. История, между прочим, показала, что столь безрассудных смельчаков не нашлось. Шведы и поляки предпочитали истощать свои силы в долгих осадах и кровопролитных штурмах, нежели оставлять за своей спиной непокоренные твердыни.

На востоке, юго-востоке и юге оборонительные сооружения могли быть не столь солидными — у татар не было пушек, — но зато от них требовалась непрерывность на сотни, а позднее и на тысячи верст. Легкая степная конница обтекала со всех сторон и давила подобно воде на русскую «плотину», отыскивая слабые места, «размывая» их и устремляясь затем в срединные области Московии. Ответом на этот вызов было создание «засечных черт» — сложной системы, сочетавшей в себе естественные препятствия на пути движения конницы (обрывистые берега рек, болота, глубокие овраги и т. д.) с искусственными преградами. На основании «отписок украинских» воевод, описаний местности и ее чертежей в Москве составлялся общий план укрепления опасных рубежей, выделялись людские силы и материальные средства к его реализации и устанавливался строгий контроль за сроками его выполнения. Ежегодно десятки, если не сотни, тысяч крестьян и посадских людей отрывались от производительного труда и должны были отбывать государевы повинности. В прирубежных лесах делались засеки согласно четким правительственным предписаниям.

Создание оборонительного пояса на юге страны и на ее востоке, и на западе, и на северо-западе, и даже на севере (чем же первоначально были знаменитые Соловки, как не прикрытием от вероятной агрессии со стороны «Студеного моря»), сооружение всего грандиозного оборонительного комплекса Московии требовало и мобилизации народного труда в грандиозных масштабах, а последнее предполагало, в свою очередь, наличие и бесперебойное действие соответствующего политического механизма. Таким механизмом и служил московский, с его свойствами и особенностями.

Только такому государственному устройству было по плечу создание вооруженных сил, способных в течение нескольких столетий вести боевые действия одновременно на два-три фронта. И это в стране, уступавшей по крайней мере своему главному противнику по уровню социально-экономического развития и по численности населения.

С точки зрения военного потенциала капитальное значение имеет тот факт, что Россия даже после избавления от золотоордынского ига на протяжении длительного исторического периода, с конца XV по середину XVIII века, оставалась, по европейским критериям, малонаселенной страной. Если к 1500 году в Италии и Германии жило по 11 миллионов человек, а население Франции превышало 15 миллионов, то в России в 1678 году, по последним исследованиям Я. В. Водарского, имелось всего лишь 5,6 миллиона жителей, из которых 0,8 миллиона составляло население недавно воссоединенной Левобережной Украины (20).

Население Речи Посполитой, по данным на 1700 год, то есть после потери ею Украины, равнялось примерно 11,5 миллиона человек (21). Однако не Польша, а Россия добивалась постоянно численного превосходства на полях сражений. Численность русской армии во второй половине XVII века определяется современными

историографами примерно в 160 тысяч воинов (22) — это в несколько раз больше того, что собирала когда-либо Речь Посполитая под своими знаменами.

Несмотря на свое относительное малолюдство, Русское государство и ранее выставляло в поле поистине огромные армии. Если верить летописям, на Куликово поле вышла русская рать в 150 тысяч воинов, а веком позже войско Ивана III, противостоявшее татарам вдоль реки Угры, насчитывало 200 тысяч. Иван IV, по данным проживавших в Москве иностранцев, пытается противопоставить качественному превосходству наемного войска Стефана Батория подавляющий численный перевес и сосредоточивает на Ливонском направлении 300 тысяч ратников (23).

Современные историки военного искусства считают данные летописей и оценки иностранными резидентами численности Московского войска сильно преувеличенными. Скорее всего так оно и есть. Однако не вызывает никакого сомнения тот факт, что по степени напряжения своих боевых сил Московия постоянно превышала как своих противников, так и вообще любое другое европейское государство. В качестве сравнения полезно привести здесь характеристику европейских войн в XVI веке, данную английским историком Роузом: «Мы не должны смотреть на войну той эпохи как на нечто подобное тотальной войне современного общества: она была скорее способна поглотить избыток жизненной энергии общества, нежели обескровить его; она в основном занимала только тех, кому нравилось ею заниматься. И она не была продолжительной: она то вспыхивала, то угасала, особенно на море, где были длительные интервалы, когда ничего не происходило» (24). Контраст в этом смысле между Западом и Востоком одного континента прямо-таки бьет в глаза. И еще одно уникальное свойство московского государственного порядка проявляется постоянно в непрерывной череде войн. Рассмотрение этого свойства мы начнем с высказывания польского историка XIX века М. Бобржинского о войнах между Литовско-Польским государством и Московским в начале XVI века:

«Перевес в вооружении, в военном искусстве, в таланте такого вождя, как Константин Острожский, был на стороне литвинов и поляков, в *дисциплине же* (подчеркнуто мной. — *Ф. Н.*), численности и неутомимой настойчивости — на стороне их противни-коз... После поражения одних отрядов Василия (имеется в виду великий московский князь Василий III. — *Ф. Н.*), на их место являлись другие, и взятого ими в 1513 году Смоленска не удалось уже отнять» (25).

Бобржинский не ошибался, усматривая перевес русского войска в дисциплине.

Именно дисциплина, военная и политическая, и явилась тем «тайным оружием», которое Москва бросила на чашу весов истории и которое склонило эту чашу в пользу России.

В эпоху средневековых государств «король, — по замечанию Ф. Энгельса, — представлял собой вершину всей феодальной иерархии, верховного главу, без которого вассалы не могли обойтись и по отношению к которому они одновременно находились в состоянии непрерывного мятежа...» (26).

Московское государство, конечно, не составляло исключения из общего правила. Вспомним смуту XV века, поднятую галицким-и князьями против Василия Темного, столкновение Ивана III с его братьями, удельными князьями, в момент приближения Большой Орды, своеволие бояр-княжат в малолетство Ивана Грозного, их оппозицию, вызвавшую опричнину. Имелось, однако, и серьезное отличие в этом отношении России от ее непосредственных противников и вообще от других европейских стран: зависимость русской феодальной знати от власти великого московского князя и царя была несравненно сильнее, а амплитуда ее центробежных колебаний неизмеримо короче, чем где бы то ни было. Общую причину такого исторического своеобразия, как здесь уже неоднократно подчеркивалось, угадать нетрудно. Высший интерес обороны государства от внешних врагов заставлял русское феодальное общество соблюдать лояльность по отношению к царю.

В том-то все и дело... В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей, возглавив войско в 120 тысяч сабель, обманывает бдительность русских сторожевых полков, прорывает оборону на Оке и, широко раскинув крылья своей конницы, проходит огнем и мечом срединные области Московского царства. Сама Москва была сожжена, бежать из нее было некуда — в поле татары, так что погибло, по утверждению иностранцев, 600 тысяч. Цифра эта, несомненно, в несколько раз завышена, но, во всяком случае, живых осталось гораздо меньше, чем мертвых. Не хватало рук на то, чтобы рыть братские могилы, и потому стали спускать трупы по течению Москвы-реки. Но и реке эта работа оказалась не по силам: в некоторых местах образовывались заторы, и их приходилось растаскивать баграми (27). В следующем, 1572 году Девлет-Гирей со всей ордой повторил нападение, но русские на этот раз были готовы к встрече татар. Во главе объединенных земских и опричных полков был поставлен воеводой князь Михайло Воротынский, известный своим умом, опытом и личной храбростью командир. Еще недавно он был в опале, тюрьме и ссылке, потерял братьев на плахе и сам стоял на ступенях, ведущих к ней. Возвращенный в столицу и обласканный царской милостью воевода оправдал высокое доверие: он завлек крымско-турецкую армию в ловушку (неудача его плана, несомненно, навлекла бы на него обвинение в измене и стоила бы ему головы) и разгромил ее полностью при Молодях на реке Лопасне в 45 верстах от Москвы. Москвичи еще долго после этого истребляли остатки крымского войска, мелкие татарские отряды, блуждавшие среди лесных засек. Пленных на этот раз не брали (28).

Подобной школы политической лояльности класс феодалов ни в одной из стран Западной Европы не проходил. И какая разница в поведении! Во Франции Людовик XI (1461 — 1483) одновременно с русским Иваном III завершает территориальное и политическое объединение страны. Это не препятствует коннетаблю Бурбону открыто поднять оружие против Франциска I в начале XVI века, гугенотской аристократии — против Карла IX и Генриха III в середине того же столетия, католическому дворянству — против Генриха III и Генриха IV во второй половине XVI века, объединенной гугенотской и католической знати — против Людовика XIII в начале XVII века (1610—1620), местным феодалам и принцам крови — против того же государя в 30-е и начале 40-х годов, принцам

королевского дома — против Людовика XIV во время «новой Фронды» (1650—1653). История Англии на каждой своей странице дает по несколько примеров такого же рода выступлений. О Германии, так и оставшейся децентрализованной страной до XIX века, вообще говорить не приходится. В России же после ликвидации удельной раздробленности при Иване III бояре-князата, несмотря на все свои претензии быть «государями земли Русской», ни разу не осмелились так вот открыто и дерзко бросить вооруженный вызов царской власти, как это постоянно делали по отношению к власти королевской их собратья по классу на Западе. И причина здесь не в различии национальных темпераментов и не в недостатке личной храбрости. Чего-чего другого, а мужества русским боярам было не занимать; его хватало и на поле боя, и под топором палача.

Причина совсем иная. Если на Западе бургиньоны и арманьяки, приверженцы Колиньи и сторонники Гизов, поборники Алой розы и Белой розы, гвельфы и гибеллины и т. д. и т. п. могли самозабвенно, в полное свое удовольствие резать друг друга и мериться силами с короной, не ставя при этом под вопрос существование общества в целом, то Россия, эта огромная осажденная крепость, таких вольностей своему господствующему классу предоставить не могла, если только хотела жить. Здесь бунт могущественных вассалов против своего сюзерена не выходит за пределы боярского заговора, дворцовой интриги, тайной крамолы, выражающейся в замыслах бежать подобру-поздорову в Литву, а чаще всего принимает форму бунта на коленях, то есть высказывания своих оппозиционных настроений в челобитных царю. Шуйские и Вельские могли еще сводить между собой счеты, пользуясь малолетством Ивана IV, но открытый мятеж той или иной феодальной клики против царя, командующего гарнизоном и коменданта крепости одновременно, когда противник у ворот и приставляет к стенам штурмовые лестницы, должен был вызвать решительный отпор всех и в первую очередь всех прочих фракций того же феодального класса.

Опричнина гипнотически притягивает к себе взоры исследователей своим безысходным трагизмом. Современные западные историографы стремятся даже представить опричные погромы Грозного как наиболее характерные для русского самодержавия методы управления. Это, разумеется, столь же честно и умно, как усматривать в злодействах Ричарда III характерную черту английской монархии или изображать всех французских королей в образе Карла IX, стоящего в Варфоломеевскую ночь у окна Лувра с аркебузой в руке и выбирающего, кого бы подстрелить из пробегающих мимо парижан. Опричнина была, конечно, исключением, частным, хотя и наиболее ярким проявлением «кризиса верхов», производного от того общего глубокого кризиса, в полосу которого вошла Россия, надорвавшись на решении непосильной ей задачи в Ливонскую войну. Поинтересуемся же теперь, как регулировались в обычные, некризисные времена отношения между царем и верхушкой феодального класса, представленного в боярской думе. Потомки удельных князей, родовитые Рюриковичи и Гедиминовичи, отодвинувшие на второе место от трона старое нетитулованное московское боярство, служили первое время великому московскому князю по договору как «вольные слуги». Законность их прав не отрицалась и самим государем до тех пор, пока эти устаревшие права не пришли в противоречие с нуждами обороны. Так, сам Грозный называл себя «государем над государями земли Русской» и в этом смысле гораздо больше походил на французского короля во главе своих герцогов и графов, чем на «восточного владыку», каким его привыкли в последнее время изображать на Западе. Когда же противоречие по вопросу о Ливонской войне обострилось до предела, тогда тот же Грозный, опираясь на поместное дворянство и на старомосковские боярские роды, заявил этим «государям земли Русской», что они такие же «холопы государевы», то есть не имеющие права на свободный отъезд со службы, невольные слуги, как и другие слои феодального класса. Старомосковская политическая традиция, таким образом, победила, распространившись и на знатных пришельцев. В целом страшное и постоянное давление извне, осадное положение, превратившееся в обыденный образ жизни, общественные порядки, по необходимости воспроизводящие порядок полка, занявшего круговую оборону, сплотили класс русских феодалов вокруг царской власти с силой, неизвестной в других, менее злосчастных краях Европейского континента.

Верность вассала сеньору в Западной Европе и верность вольного слуги своему князю в домосковской Руси определялись условиями договора, заключенного между обеими сторонами (безразлично, письменного, устного или даже только подразумеваемого общим обычаем). Эта верность не безгранична, все обязанности точно установлены, и сеньор не вправе требовать службы за пределами предусмотренного в соглашении. Феодальный барон на Западе получал от сюзерена и земельное держание *за то*, что служил; московскому дворянину поместье с землею, угодьями и крестьянами давалось *для того*, чтобы он нес исправную службу. С точки зрения экономики и в отношении феодальной эксплуатации крестьянства разницы здесь нет ровно никакой, но в юридическом и морально-политическом смысле она огромна. Западноевропейский феодал или старорусский боярин мог отъехать от своего сеньора, вернув ему его собственность, и превратиться в странствующего рыцаря, предлагающего свое копье и меч любому государю в обмен на соответствующий земельный надел. (Так, польские рыцари оседают на землях Тевтонского ордена, оказываются в рядах испанцев, воюющих против мавров, нанимаются на службу к итальянским владетельным князьям и т.д.). Наконец, в случае нарушения самим сеньором одного из условий договора обиженный вассал мог, не нарушая долга чести, отказать ему в службе, удерживая в то же самое время силой оружия полученный от него надел. Ничего этого в Московской Руси не было, так как место договора в ней заняла разверстка односторонних обязанностей военного сословия по отношению к царской власти. И из этого принципиального различия вытекают очень важные практические следствия.

На Западе продолжительность военной службы вассала точно определена. Так, в Англии XIII века ее срок колебался от 21 до 40 дней в году (29), причем в некоторых районах страны существовал обычай, по которому рыцарь брал с собой в поход свиную окорок, и с последним его куском истекал и срок службы. Средневековая история заполнена примерами того, как рыцарские ополчения расходились по домам во время осады, после битвы,

еще до того, как кончался срок вассальной службы.

Феодалное ополчение Московской Руси служило *бессрочно*. Разумеется, и оно находилось в зависимости от взятого провианта, и царские воеводы неоднократно обращались в кремлевскую ставку с челобитьем о необходимости распустить по поместьям отошавшее от голода войско, но вопрос о том, когда садиться на коня, когда с него слезать и сколько недель или месяцев сидеть в седле, решался только в Кремле. Ополчение как созывалось, так и распускалось по царскому указу. Иван III, когда ему было доложено о том, что несколько детей боярских самовольно на несколько дней покинули ряды войска, велит виновных бить кнутом на рыночной площади (30).

О том, какой боевой дух царил в московском войске, можно судить по свидетельствам иностранцев. Английский путешественник Ченслор пишет: «Русские не могут сказать, как говорят ленивцы в Англии: я найду королеве человека служить вместо себя или проживать с друзьями в доме, если есть достаточно денег. Нет, это невозможно в этой стране; русские должны подавать низкие челобитные о принятии их на службу, и чем чаще кто посылается в войны, тем в большей милости у государя он себя считает» (31). А вот известия из вражеского источника. Польский шляхтич немецкого происхождения Рейнхольд Гейденштейн, проделавший вместе со Стефаном Баторием все его войны, описывает русских: «...Считая верность к государю в такой же степени обязательной, как и верность к Богу, они превозносят похвалами твердость тех, которые до последнего вздоха сохранили присягу своему князю». Переходя к характеристике Ивана Грозного, он замечает: «Тому, кто занимается историей его царствования, тем более должно казаться удивительным, что при такой жестокости могла существовать такая сильная к нему любовь народа, любовь, с трудом приобретаемая прочими государями только посредством снисходительности и ласки... При чем должно заметить, что народ не только не возбуждал против него никаких возмущений, но даже высказывал во время войны невероятную твердость при защите и охранении крепостей, а перебежчиков вообще очень мало. Много, напротив, нашлось и во время этой самой войны (Ливонской. — *Ф. Я.*) таких, которые предпочли верность к князю, даже с опасностью для себя, величайшим наградам» (32).

Подведем же некоторые итоги. Русь (Россия) и страны Западной Европы прошли через одни и те же этапы развития своей государственности. Империи Карла Великого соответствовала, по выражению К. Маркса, «империя Рюриковичей», то есть Киевская Русь. Феодалной раздробленности там — удельная система здесь. Домену первых Капетингов — вотчинная монархия Ивана Калиты и вообще первых московских князей. И там и здесь патриархально-вотчинная монархия разворачивается в сословно-представительную с ее генеральными штатами, парламентами, кортесами, сеймами, земскими соборами, а последняя, в свою очередь, перерастает в абсолютную, опирающуюся на постоянную войско и бюрократический аппарат.

Однако в рамках одной и той же общественно-экономической формации, в русле единого исторического процесса Московская Русь выделяется все же явным своеобразием своего государственного устройства. «Это устройство, — отмечает В. О. Ключевский, — целая политическая система, которой нельзя отказать ни в стройности и последовательности, ни в практической пригодности. Пригодность системы доказали ее результаты: она помогла государству в продолжение двух веков с лишком, с половины XV и до второй четверти XVIII века, выдержать трехстороннюю борьбу на западе, юге и юго-востоке, с которой по тяжести ни в какое сравнение не могут идти внешние затруднения, испытанные в те века государствами Западной Европы» (33).

Основные черты своеобразия этого устройства, на наш взгляд, сводятся к следующему. На каждой ступени экономического развития русских земель (и России в целом, начиная с середины XVII века) Москва всякий раз достигает максимума в сосредоточении государственной власти над страной, максимума возможной политической централизации в данных экономических условиях, что обеспечивает ей способность мобилизовать в случае военной необходимости гораздо больше боевых сил и материальных средств, чем это могли себе позволить враждебные ей державы, несмотря на все их многолюдство и богатство. Вот это гораздо более полное использование Русским государством своего довольно-таки скудного военно-экономического потенциала и давало ему возможность в конце концов всякий раз выходить победителем из тех долгих исторических споров, которые оно вело с Золотой Ордой и ее наследниками, татарскими ханствами, с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой, с крестоносным Орденом, с Швецией и Турцией.

Другой стороной этой централизации, этого беспримерного для всей остальной Европы напряжения военных и хозяйственных сил русского общества был беспримерно же высокий уровень политической дисциплины всех составлявших это общество классов и сословий. Сословия отличались одно от другого здесь не правами по отношению к государственной власти, а всего лишь обязанностями, которые государство разверстывало между ними и которые при надобности верховная власть могла увеличивать по своему произволу.

Итак, централизация и дисциплина — вот ответ Москвы на исторический вызов, брошенный русскому народу. Ответ суровый, но единственно правильный в той неравной борьбе, что вел этот народ за существование, за национальную независимость, за удовлетворение насущнейших потребностей своего экономического развития.

«Необходимость централизации, — писал А. И. Герцен, — была очевидна, без нее не удалось бы ни свергнуть монгольское иго, ни спасти единство государства... События сложились в пользу самодержавия, Россия была спасена; она стала сильной, великой — но какой ценою? ...Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни» (34).

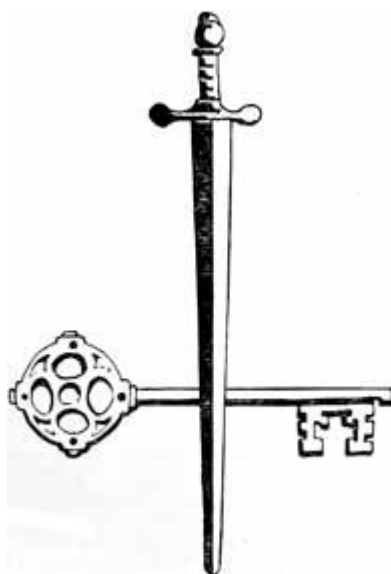
Историческая цена, заплаченная русским народом за могущество и величие своей родины, была и в самом деле поистине огромной. Помимо рек крови, пролитых на полях сражений, он вынужден был отдать Москве и еще кое-что чрезвычайно важное: свои вольности, свое вечное устройство, свои возможности политического развития по

пути городов-республик. Новгород Великий и Псков лишь дальше других продвинулись по этому пути, а шли по нему и все прочие русские земли; ко времени основания Москвы авторитет князя и политический вес его дружины почти повсеместно падают перед возросшим значением веча. Но начинается взлет Москвы — и вечевые колокола замолкают один за другим: вместо граждан ей, по уже приведенному выражению Ключевского, нужны лишь «работники» и «солдаты». Это трагическое превращение и совершается.

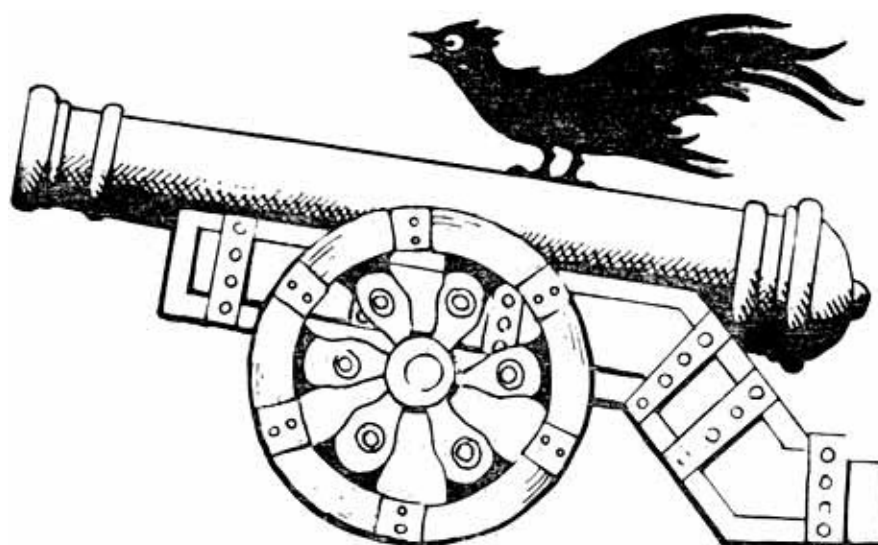
При перерастании сословно-представительной монархии в абсолютизм в середине XVII века чиновничье управление в России, как и повсеместно в Европе, постепенно вытесняет общинное, однако здесь этот процесс затягивается до XX века. Только столыпинская реформа разрушила крестьянские общины, объединявшие в себе уже в XIX веке до 80 процентов всего русского населения.

А разве можно из истории России вычеркнуть славную казацкую вольницу? Или широкий разлив мирной крестьянской колонизации на просторах европейского русского Севера, Поволжья, Сибири? Или движение раскола? Или народный подъем 1612 года?

Все это, конечно, никак не укладывается в рамки истории государства Российского, ибо имело источником не государственную инициативу, а историческое творчество народных масс. Да ведь и история русского народа гораздо шире и глубже, чем история созданной его потом и кровью державы. Вот почему главу «Ответ Москвы» было бы логично завершить вопросом: а был ли ответ этот *достаточным* условием побед России над сильнейшими противниками? Централизация и дисциплина, наложенные Москвой на русский народ, — это в самом деле необходимые и важнейшие предпосылки торжества России. *Но только ли* благодаря им, благодаря государственной централизации и политической дисциплине, были одержаны ее решающие победы? На наш взгляд, было бы и фактически неверно, да и весьма несправедливо по отношению к этому героическому народу ограничиться рассмотрением только этих двух факторов. На протяжении всей нашей многовековой истории действовал также третий могущественный фактор величия России — сила народного патриотизма.



СИЛА ПАТРИОТИЗМА



Выше уже приводилось высказывание В. О. Ключевского о том, что «Московское государство... родилось на

Куликовом поле, а не в скопидомном сундуке Ивана Калиты». Принять его мы можем лишь с оговоркой: ближайший ученик Ключевского, А. Е. Пресняков, показал ошибочность бытовавшего ранее среди историков мнения о том, что Калита подобно рачительному хозяину-кулаку собирал земли вокруг Москвы, и доказал, что он открыл длительный период собирания *не земель*, но *власти* в руках московских князей (1). Сосредоточение же в Кремле власти над служилыми князьями послужило предпосылкой того, что объединенная русская рать на Куликовом поле повела себя совсем не так, как, скажем, при первом столкновении с монголами на реке Калке в 1223 году, когда русские князья были равны между собой и связаны лишь узами «братской любви». Сняв же категоричность в отрицании роли «скопидомного сундука» Калиты, современный историограф должен все же признать исключительную важность Куликовской битвы как для создания Московского государства, так и для формирования национального характера Великороссии и России. В 1380 году между Доном и Непрядвой произошел скачкообразный переход копившихся со времен Ивана Калиты постепенных изменений в новое качество. Приглядимся же внимательнее к тому, что на том поле произошло.

Дмитрий Иванович, конечно, хорошо понимал слабость своего огромного, но малоподвижного, плохо вооруженного и неискусного в бою народного ополчения. Вместе с тем он не мог позволить ему использовать выгоды обороняющейся стороны, закрепиться вдоль берега Непрядвы и препятствовать форсированию реки татарами. Со дня на день ожидалось прибытие литовского войска Ягайло, спешившего на соединение с Мамаем, и битву нужно было дать немедленно, пока не свершилось непоправимое. Однако и наступать пешей ратью на конное войско не было никакой возможности. Не знавшее строевой выучки народное ополчение представляло собой некоторую силу лишь постольку, поскольку составляло плотную массу; плотную же массу оно составляло, лишь оставаясь на месте. При Гастингсе Вильгельм Завоеватель разгромил англосаксов, выманив их из укрепленного лагеря, спровоцировав их на наступление. Рассыпавшаяся по полю англосаксонская пехота сразу же превратилась в беззащитную жертву норманнских рыцарей. Дмитрий Донской делает все, чтобы вынудить татар ударить на *неподвижное* народное ополчение, составляющее вместе с усиливающими его феодальными дружинами и «двором» самого великого князя Большой полк. Он ночью переводит русскую рать через Непрядву, ставит ее в открытое поле, не возводя при этом никаких оборонительных сооружений. Тем самым он предлагает Мамаю битву на наивыгоднейших условиях для татар, имевших огромный перевес в коннице. Свою отборную феодальную кавалерию Дмитрий отводит в засаду (при прямом столкновении она неизбежно была бы раздавлена превосходящей массой татар), действиями своего авангарда (сравнительно небольших конных сторожевых полков) завлекает противника к Большому полку и вынуждает Мамай бросить против него все резервы.

«Вообще же функции сплоченной массы пехоты как в стрелковом и смешанном бою, так и в пассивной обороне ограничиваются рамками вспомогательного рода войск» (2), — делает вывод Г. Дельбрюк на основании изучения всех сколь-либо значительных сражений западноевропейского средневековья. Большому полку на Куликовом поле с самого начала отводилась главная роль. На Западе пешая рать неоднократно бросалась врассыпную, едва завидев скачущих всадников, и давала себя перерезать «подобно бессмысленному скоту». Устав ордена Тамплиеров, известный своей строгостью, прямо признает, что пешим кнехтам не по силам противостоят конному противнику, и не возбраняет им спасаться в таком случае бегством (3). Статуты Тевтонского ордена вообще исключают использование пеших против кавалерии (4).

Но то, что для Европы было невозможным, для Руси стало необходимостью. Летописи сообщают потом, что лишь один из десяти русских воинов, перешедших через Непрядву, вернулся домой. В этом известии, как и в подобных ему рассказах средневековых хроникеров, содержится, вероятно, изрядная доля преувеличения, но нет никакого сомнения в том, что Дмитрий Иванович, поставив свой, пеший в основном, Большой полк под главный удар татарской конницы, хладнокровно и обдуманно обрек его на почти полное истребление. Только если народная рать выстоит под кривыми саблями до смертного конца, если она своим упорным сопротивлением истощит силу натиска конной массы, притомит степных лошадей, притупит клинки всадников, только в этом случае оставалась одна-единственная возможность победы, и только тогда ужасная жертва приобретала высокий смысл.

Под черным великокняжеским знаменем колыхалось людское море. Вся Московская Русь была представлена здесь — от стольного града во главе с великокняжеским двором до последней глухой деревушки, до далеких лесных заимок, куда крестьянские «топор и соха ходили» и куда добрался вестноша с призывом братья за оружие.

После короткого жестокого боя татары сбили, смяли и отбросили в сторону передовой сторожевой полк. Русские всадники, как и было условлено, привели погоню к своим главным силам, к Большому полку. И тогда Мамай (как на это и надеялся московский князь), окрыленный достигнутым успехом, бросил все свои силы на пешую русскую рать в полной уверенности, что сломит ее одним мощным ударом.

...Уже земля стонала от топота десятков тысяч татарских лошадей. Небосклон наполовину закрылся плотной завесой пыли — казалось, сама смерть распростерла свои черные крылья, охватывая ими Большой полк. Но не к ней, не к плотной массе приближающейся конницы, были прикованы взоры всех. Глаза русских ратников следили за двумя хорошо знакомыми фигурами всадников, выехавшими перед полком. Великий князь Дмитрий Иванович спешился, положил на землю щит, отстегнул меч, сбросил плащ, снял позолоченный шлем и прочие доспехи. Его спутник — это был соратник князя с юных лет боярин Михаил Андреевич Бренок — облачился в великокняжескую одежду, взял оружие князя и встал на его место под знамя Москвы. Князь же, надев доспехи простого воина и пересев на другого коня, въехал в пеший строй, и войско сразу же потеряло его из виду.

До каждого сердца дошел смысл увиденного. Дмитрий не скрылся в Зеленую дубраву вместе с Засадным

полком, не возглавил свою конную дружину, не окружил себя стальным кольцом старых «верных приятелей», искусных в боевом деле бояр, но пожелал в этот торжественный и, быть может, последний час стоять плечом к плечу со своими черными людьми, потому что от них, смердов, сермяжных мужиков, зависела судьба Руси.

Так пусть вся дружина ляжет костью, пусть исчезнет в круговороте схватки человек в знакомых всем великокняжеских доспехах, пусть великокняжеское знамя, соединяющее их сейчас своим траурным полотнищем, склонится до земли и пропитается их кровью — это еще не поражение. Нельзя признать себя побежденными, пока где-то рядом в общей свалке, неотличимый от других, бьется их князь. Он навсегда останется с ними, живой или мертвый...



ОТВАЖНЫЙ
ВОНН
ПЕРЕ
СВЕТ

СТРАШНЫЙ
БОГАТЫРЬ
ЧЕЛУ
БЕЙ

От удара конной массы в человеческую стену многие в рядах сразу были раздавлены, многие в тесноте задохнулись, но стена, подавшись немного назад, все же выстояла. Не произошло того, в чем был уверен Мамай, чего боялся Дмитрий: никто не побежал, никто не бросил оружия. Татары могли бы, не идя врукопашную, издали стрелами засыпать беззащитную русскую рать, но хан хотел быстрой победы и предпочел прямой удар. За его

высокомерие ордынцы платили теперь большой кровью, вырубая ряд за рядом упорно сопротивляющихся русских, и сами теряли множество убитыми. Так продолжалось более трех часов.

Глава Засадного полка князь Владимир Андреевич Серпуховской, глядя из укрытия на побоище, говорил воеводе Боброку Волынскому: «Долго ли нам здесь стоять, какая от нас польза? Смотри, уже все христианские полки лежат мертвы!» В самом деле, Большой полк сильно поредел; ряды пешей рати легли, где стояли, как скошенная трава. Однако нависшая была угроза прорыва в середине была отражена свежими пешими полками суздальцев и владимирцев. По словам летописца, наибольшие потери понесла «пешая русская великая рать», однако сломить ее не удалось. Татары изменили направление атаки, сосредоточив остаток своих сил против конного полка Лево́й руки. Его ордынцы потеснили... и повернулись спиной к Зеленой дубраве.

Тогда Боброк сказал Владимиру Андреевичу: «Ветер переменялся и дует полку в спину», — и князь Серпуховской дал долгожданный знак к выступлению. Молчаливая ярость, разрывавшая грудь дружинников, нашла наконец выход: Засадный полк ударил с холма с такой неистовой стремительностью и силой, что татары сразу же забыли, зачем у них в руках оружие, и доверили спасение жизней измученным лошадям. Далеко уйти они не могли, мстители избивали охваченных непреодолимым ужасом беглецов по всей округе. Битва завершилась, как и началась, великим побоищем (5).

Представив себе ход событий, нетрудно уже раскрыть смысл образного выражения о рождении Московского государства на Куликовом поле. Победа на нем была итогом общенародного напряжения сил. Эта победа, одержанная под руководством Москвы, и легла краеугольным камнем в самое основание Московского государства. На Куликово поле собрались феодальные дружины и народные полки из разных русских земель, признавших верховенство московского князя, но обратно возвращалось в ореоле грозной славы войско единой Руси. Каждый город, село, деревня, откликнувшись на призыв великого князя, гордились своим участием в общерусском деле, своей сопричастностью к победе над Мамаем, и эта великая гордость враз отодвинула в сторону старый областной патриотизм, характерный для эпохи феодальной раздробленности. На его место встало чувство беспредельной любви к Отечеству и преданности великому князю всея Руси как живому олицетворению общерусского единства. Новорожденная Великороссия вышла из кровавой купели Мамаева побоища закаленной с головы до ног и готовой к любым тяжким испытаниям.

И именно на Куликовом поле впервые проявились те черты, что выделяют впоследствии Россию из Европы и придадут ей неповторимый национальный облик.

В домосковской Руси княжие «мужи» и «отроки» очень походят на западное рыцарство, а удельные князья — на герцогов, графов и маркизов. Русские дружинники в «Слове о полку Игореве» «рыщут по полю как серые волки, ища себе чести, а своему князю — славы» (6). Именно личная воинская слава является высшим стимулом к действию как древнерусских, так и западноевропейских феодалов. Сами княжеские имена — все эти Ярославы, Святославы, Мстиславы, Вячеславы, очень близкие к польским Болеславам, Владиславам, Мечиславам, — вместе с прозвищами вроде Удалого, Смелого или Храброго достаточно ясно говорили о самом дорогом для их владельцев помысле. Подобно западному знатному барону, возглавляющему своих вассалов и озабоченному тем, как бы кто иной не опередил его в атаке на противника, русский князь всегда впереди своей дружины под знаменем, в ярком плаще, позолоченном шеломе, блестящих латах. Он, подавая пример личной храбрости, первым бросается в схватку, отыскивая среди врагов равного себе по положению и по удали. У древнерусских князей меч сам выскакивает из ножен, они крайне щепетильны в вопросах чести, обидчивы, самолюбивы, но после хорошей драки легко мирятся, проявляют великодушие к побежденному и нередко вместе с ним тут же, на поле боя, справляют тризну по убитым. Венгерский полководец XIII века говорит, что они «охочи к бою, стремительны на первый удар, но долго не выдерживают» (7).

Москва выработала в русском народе боевую доблесть совсем иного рода. Он не хватается за меч при первом порыве, но зато и не вкладывает его обратно до тех пор, пока не добьется своего. Слова летописца об одном из первых московских князей, Симеоне Гордом, который «не любил неправды и крамолы и всех виновных сам наказывал, пил мед и пиво, но не напивался допьяна и терпеть не мог пьяных, не любил войны, но войско держал наготове» (8), хорошо подходят и к его преемникам. Характерно то, что русские летописи и повести о Мамаевом побоище подчеркивают «кротость» и «богобоязненность» Дмитрия Ивановича, стремившегося к «мирному докончанию» с Золотой Ордой, то есть, говоря современным языком, к политическому решению спора. Позднее московский книжник XVI века пишет о том, какие многие «обиды» претерпел миролюбивый Иван Васильевич Грозный от ливонских немцев, — это было идеологическим обоснованием Ливонской войны. Для западного хроникера такой прием был бы немыслим: изображение своего государя кротким агнцем, терпеливо сносящим многие обиды, само по себе в глазах общественного мнения было крайне обидным. Но в том-то все и дело, что постоянно воюющая Московия, эта военная держава, по преимуществу ее люд, — не ищут войны. Им нужно убедиться в том, что действительно не осталось никакой возможности для мирного урегулирования конфликта, чтобы опять взяться за оружие с тяжким вздохом, но со спокойной совестью.

Отсюда наблюдающееся на протяжении веков глубокое различие между Россией и Западом как в их отношении к вопросам войны и мира, так и в воинском темпераменте.

...Средневековый рыцарь-поэт Бертран де Борн красиво воспекает весну: «Любо мне теплое весеннее время, когда распускаются листья и цветы, любо мне слушать щебетание птиц и их веселое пение, раздающееся в кустах». Но еще больше трубадуру нравится картина того, как «люди и скот разбегаются перед скачущими воинами». Ни еда, ни питье, ни сон — ничто не манит его так, как вид «мертвецов, в которых торчит пронзившее

их оружие». По мнению де Борна, человек только и ценится, что по числу нанесенных и полученных им ударов (9). Такой взгляд мог возникнуть только там, где ударов не слишком много раздавали и получали, чтобы вести им, не сбиваясь, счет, где война в течение столетий оставалась делом «благородного сословия», забавой храбрых. Война в гомеопатических дозах всегда порождает воинственность, но стоило Европе и Соединенным Штатам Америки побольше хлебнуть крови в первую мировую войну, как тут же появилось отравленное ею «потерянное поколение».

В течение столетий Россия вела борьбу за существование, и борьба эта была общенародным делом. В старой армии был один полк, получивший за победу, одержанную в каком-то особенно упорном рукопашном бою, оригинальные знаки отличия: на сапогах красные отвороты. Зачем же было выделять одну воинскую часть, когда весь народ на протяжении своей истории отбивался, стоя по колено в крови? Россия, открытая на своей плоской равнине вражеским ударам с трех сторон, могла противопоставить им лишь активную оборону, то есть вслед за парированием должна была и сама делать выпад. Так, шаг за шагом продвигалась она во всех направлениях. И ни один из этих шагов не обеспечивал ей безопасных границ, но лишь расширял передполье для будущих сражений. Война оставалась жестокой действительностью, мир — прекрасной мечтой. «Война... самое гадкое дело в жизни», — говорит накануне Бородинского сражения Андрей Болконский (10), и трудно найти русского, который не согласился бы с ним. Русская культура по природе своей враждебна милитаризму: наш лучший баталист в литературе — Л. Н. Толстой, в живописи — В. В. Верещагин.

Но вернемся к истокам. Объезжая свой Большой полк, Дмитрий Донской видел перед собой плохо вооруженных и неумело держащих оружие ополченцев. И все же это был не жалкий сброд насильно согнанной на поле боя черни, но «великая русская пешая рать», сама воинствующая Великороссия. Кормильцы земли русской стали и ее защитниками. И вот тогда, перед лицом десятков тысяч обреченных им на смерть людей, великий князь вдруг понял ничтожность стремления к личной славе, побуждавшего прежде всех русских князей и его самого на ратные подвиги. Еще недавно, два года назад, на берегу реки Вожи он с горсткой своих «верных» ворвался в самую середину татарского войска, уверенный в том, что остальные дружинники мечами проложат себе путь к великокняжескому знамени. Но там князь подавал пример отваги людям, рожденным, как и он сам, для войны, посаженным, как и он, на боевого коня еще в отроческие годы (впервые, кстати сказать, Дмитрий принял участие в битве, когда ему было одиннадцать лет), по своему вооружению и умению владеть оружием мало чем ему уступавшим. Но какой пример он может показать теперь тому сутулому от работы за сохой смерду или этому скорей всего кузнецу с палицей в руках? Только пример стойкости, которая останется никем не замеченной во всеобщей схватке, только пример безвестной гибели, в которой он, быть может, разделит участь этих десятков тысяч. Вот почему нужно проститься с верным конем, сбросить великокняжеские регалии, уйти из-под великокняжеского знамени и встать простым воином в строй.

Отныне и впредь Россия будет требовать от своих сынов не личного бесстрашия (оно разумеется само собой и в доказательствах не нуждается), но беспрекословного выполнения воинского долга, умения побеждать и умирать в строю. Эти традиции в корне отличны от рыцарского духа, проникшего впоследствии и в регулярные армии Запада, но родственны чувству, некогда вдохновлявшему римские легионы. Если западноевропейским рыцарям, по замечанию Дельбрюка, важна не столько общая победа, сколько победные лавры, сорванные лично для себя, то характерной чертой русского воинского духа становится вслед за Дмитрием Донским скромное мужество: русским ратным людям довольно и победы общей, одной на всех. Не энтузиазм, быстро вспыхивающий и легко угасающий, но спокойная готовность к выполнению воинского долга составляет основу этого вида мужества. Л. Н. Толстой, хорошо знавший русского солдата по Севастополю, отмечает: «Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желаний отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера» (11).

И еще одна важная линия преемственности берет свое начало в 1380 году. На Западе сигналом к началу боя был подъем знамени, а к окончанию — его свертывание или опускание. Устав ордена Тамплиеров требует от рыцаря не покидать поля боя даже в случае поражения, пока над ним развеивается знамя Ордена. И лишь после того, как оно упало, «рыцарю можно искать спасения там, где бог поможет» (12). Это правило действовало не только в военно-монашеских орденах, но и в мирском рыцарском войске. Оно-то и объясняет, почему самый ожесточенный бой кипел именно вокруг знамени: каждая сторона стремилась во что бы то ни стало захватить или сбить знамя противника и удержать свое поднятым. Сходный обычай имел место и на Руси.

Дмитрий Донской сломал этот обычай. То есть великокняжеское знамя остается и для него святыней: до начала битвы он бросается на землю перед знаменем, целует его край, молится о даровании русской рати победы. Но непосредственно перед главной атакой татар на Большой полк великий князь демонстративно ушел из-под него, потребовав тем самым от русских воинов, чтобы они стояли до конца и продолжали борьбу, даже если знамя будет потеряно. Столь жесткое требование на Западе никогда не предъявлялось не только к народному ополчению (о нем там вообще речь не могла идти сколь-либо серьезно), но даже к отборному рыцарскому войску.

Еще об одном отличии. На Западе отношения между сеньором и вассалом, между государем и сословиями, между королем и его наемным войском и т. д. строились на правовой основе. Обязанности уравнивались правами и, можно даже сказать, измерялись ими.

Существовала, следовательно, социальная определенная мера долга как гражданского, так и воинского. В Московии такой меры не было и быть не могло. Здесь долг перед государством беспределен в принципе, а

практически определялся нуждами обороны: пусть государь возьмет столько имущества, труда и крови, сколько потребуется для отечества. Вот почему, произнося одни и те же слова, западноевропейцы и русские понимали их различно и в сходных ситуациях действовали подчас прямо противоположным образом.

В 1576 году шеститысячный русский отряд вторгается в Ливонию. Крепости Леаль, Лоде, Фикель, Габсаль сдаются ему без выстрела. Жители Габсаля, хорошо знакомые с нравами немецких ландскнехтов, с удивлением обнаруживают, что русские, вступив в город, не грабят и не насилюют. На радостях отцы города вечером после капитуляции устраивают пир с танцами, желая блеснуть перед «варварами» пышностью одежд и изяществом манер местных патрициев. «Варвары» были в самом деле поражены и переговаривались между собою: «Что за странный народ эти немцы! Если бы мы сдали без нужды такой город, то не смели бы поднять глаз на честного человека, а царь наш не знал бы, какой казнию нас казнить». С одних и тех же крепостных стен для немецких бюргеров и русских ратных людей открывались совершенно разные виды: первые различали главным образом, как легко неприятелю взять Габсаль в кольцо блокады, а вторые прикидывали, сколько бы они положили в крепостной ров вражеских солдат, доведись им сесть в осаду (13).

Ливонский хронист Рюоссов, ярый ненавистник московитов, тем не менее отдает им должное за стойкость, с которой они выдерживали осады: «Русские в крепостях являются сильными боевыми людьми. Происходит это от следующих причин. Во-первых, русские — работающий народ: русский в случае надобности неутомим во всякой опасной и тяжелой работе, днем и ночью, и молится Богу о том, чтобы праведно умереть за своего государя. Во-вторых, русский с юности привык поститься и обходиться скудной пищей; если только у него есть вода, мука, соль и водка, то он долго может прожить ими, а немец не может. В-третьих, если русские добровольно сдадут крепость, как бы ничтожна она ни была, то не смеют показаться в своей земле, так как их умерщвляют с позором; в чужих же землях они не могут, да и не хотят оставаться. Поэтому они держатся в крепости до последнего человека, скорее согласятся погибнуть до единого, чем идти под конвоем в чужую землю. Немцу же решительно все равно, где бы ни жить, была бы только возможность вдоволь наедаться и напиваться. В-четвертых, у русских считалось не только позором, но и смертным грехом сдать крепость» (14).

На Западе давно утвердился взгляд, согласно которому оборона крепости имеет смысл и морально оправдана лишь в том случае, если ее защитники имеют шансы выжить. В противоположном случае, то есть если укрепления недостаточно надежны или гарнизон слишком малочислен, или не хватает военного снаряжения либо продуктов питания, или потеряна надежда на деблокирующий удар своей армии, или имеется еще какая-нибудь важная причина для капитуляции, оборона превращается в бессмысленное кровопролитие. Именно так смотрела просвещенная Европа на фанатиков-испанцев, защищавших от наполеоновской армии Сарагосу, именно так смотрит американский журналист Солсбери на фанатиков русских, оборонявших в последнюю войну Ленинград. Напротив, в капитуляции перед превосходящими силами противника не находили и не находят ничего предосудительного. Великий Роден в скульптурной группе «Граждане Кале» увековечил сдачу города на милость английского короля.

Вообще много внимания уделяется эстетической стороне подобных актов. Вступление армии Наполеона в Вену в 1805 году, по описанию его участника, французского офицера, выглядело так: «Жители обоих полов теснились в окнах; красивая национальная гвардия, расположенная на площадях в боевом порядке, отдавала нам честь, их знамена склонялись перед нашими орлами, а наши орлы — перед их знаменами. Ни малейший беспорядок не нарушал этого необыкновенного зрелища» (15). В Пруссии все происходит столь же красиво. Штеттин, первоклассная крепость с многочисленным гарнизоном и сильной артиллерией, капитулирует перед полком французской кавалерии. Под угрозой бомбардировки сдается Магдебург. Его гарнизон после того, как сложил оружие, проходит перед маршалом Неем под мелодичные звуки оркестра. Магистрат Берлина в пышном наряде преподносит Наполеону ключи города на бархатной подушке (16). Но и Париж в 1813 году не остается в долгу: как только стало известно, что штурма города не будет, а капитуляция подписана, нарядная веселая толпа заполняет бульвары для встречи победителей (17).

Вот чего русские никогда не могли понять. Не то, чтобы они отказывались принимать капитуляции или нарушали их условия, но сами почему-то не хотели звать к великодушию победителя. Европейцы же, со своей стороны, никак не могли уразуметь, что столь рыцарственные и гуманные обычаи могут быть не поняты или отвергнуты. Отсюда некоторые недоразумения. Так, Наполеон несколько часов ожидает ключей от Москвы на Поклонной горе, видимо, неправильно истолковав этимологию названия местности. До сих пор не вскрыты корни столь странной ошибки. Ни один русский город, лежащий на пути Великой армии, не подносил ей свои ключи. И в прошлом не было ничего похожего на европейские образцы. Неужели пожар Смоленска, подожженного самими жителями, ничего не возвестил императору французов и ничего не напомнил?

...С 21 сентября 1609 года по 3 июня 1611 года армия польского короля Сигизмунда осаждала Смоленск. За время осады успело рухнуть Московское государство: в 1610 году Василий Шуйский был свергнут с престола, бояре для защиты Москвы от Лжедмитрия впустили в нее польское войско гетмана Жолкевского и отправили в стан Сигизмунда посольство, чтобы просить у него сына, королевича Владислава, на русский трон. Сигизмунд соглашается, но требует от послов Смоленск. Послы передают его слова смолянам.

Так, совершенно неожиданно для защитников города им пришлось самим решать, продолжать ли оборону, или впустить Владислава с польским войском. Смоляне согласились впустить Владислава как русского царя, но не как польского королевича, сопровождаемого польскими ратными людьми. Но на последнем настаивает Сигизмунд, это его последнее условие.

Над Смоленском не было уже верховной власти, церковь разрешила всех от клятвы верности низложенному

царю, смоляне с крепостных стен видели пленного Шуйского в королевском лагере на пути в Варшаву — некому было «казнить их казнию» за сдачу города. Многие русские города признали Владислава царем, и поляки на этом основании называли жителей Смоленска изменниками. Все знали, что Смоленск — ключ к Москве, но зачем хранить ключ, когда сбит замок? К тому же город в течение года выдержал осаду, горел от раскаленных польских ядер, страдал из-за отсутствия соли и был поражен каким-то поветрием. Превосходство польской армии было очевидным, падение крепости оставалось лишь делом времени, так как неоткуда ждать помощи, а условия сдачи были милостивыми. Не пора ли подумать о жизни женщин и детей, прекратить бессмысленное кровопролитие? Дети боярские, дворяне и стрельцы колебались в ответе, воевода молчал, архиепископ безмолвствовал. Черные люди посадские, ремесленники и купцы настояли на обороне до конца, и Смоленск ответил королю: «Нет!» Перед русским посольством во главе с митрополитом Филаретом смоленские представители, дети боярские и дворяне, разясняли, что хотя поляки в город и войдут, но важно, чтобы их, смолян, в том вина не было. Поэтому они решили: «Хотя в Смоленске наши матери и жены, и дети погибнут, только бы на том стоять, чтобы польских и литовских людей в Смоленск не пустить».

Потом был приступ. Поляки, взорвав башню и часть стены, трижды вламывались в город и трижды откатывались назад. Потом вновь перешли к правильной осаде, днем и ночью засыпали Смоленск ядрами. Потом снова приступали к крепости, снова отступали, снова долбили ее стены и башни из пушек, снова Еели подкопы и взрывали укрепления. Так в течение еще одного нескончаемого года. К лету 1611 года число жителей сократилось с 80 до 8 тысяч душ, а оставшиеся в живых дошли до последней степени телесного и душевного изнурения. Когда 3 июня королевская артиллерия, сосредоточив весь свой огонь на свежоотстроенном участке стены, разрушила его полностью и войско Сигизмунда вошло наконец в город через пролом, оно не встретило больше сопротивления: те смоляне, которым немогучо было видеть над Скавронковской башней польское знамя, заперлись в соборной церкви Богородицы и взорвали под собой пороховые погреба (по примеру саугинцев, замечает польская хроника); другим уже все было безразлично: безучастно, пустыми глазами смотрели они на входящих победителей. Сигизмунду передали ответ пленного смоленского воеводы Шеина на вопрос о том, кто советовал ему и помогал так долго держаться: «Никто особенно, никто не хотел сдаваться». Эти слова были правдой. Одного взгляда на лица русских ратных людей было довольно, чтобы понять, что брошенное где попало оружие не служило просьбой о пощаде. На них не было ни страха, ни надежды — ничего, кроме безмерной усталости. Им уже нечего было терять. Никто не упрекнул бы Сигизмунда, если бы он предал пленных мечу: не было капитуляции, не было условий сдачи, никто не просил о милости. Сигизмунд, однако, не захотел омрачать бойней радостью победы и разрешил всем, кто не хочет перейти на королевскую службу, оставив оружие, покинуть Смоленск (18).

Ушли все, кто еще мог идти. Опустив головы, не сказав слова благодарности за дарованные жизни. Пошли на восток от города к городу по истерзанной Смугтой земле, тщетно ища приюта, питаюсь подаванием Христа ради. Когда добрались до Арзамаса, местные земские власти попытались было поселить под городом нищенствующих дворян и детей боярских, да арзамасские мужики не захотели превращаться из черных крестьян в крепостных и прогнали новоявленных помещиков дубьем.

Эти странники с гноящимися под драным рубищем ранами, с беззубыми от цинги ртами еще не знали, что пролитая кровь, смерть товарищей, гибель семей не были беспечной, бессмысленной жертвой. Они выполнили долг перед государством как смогли, но где оно, их великое государство? Без малого восемьсот верст прошли они, но на своем скорбном пути видели лишь одну и ту же мерзость запустения. Защитникам Смоленска мысли не могло прийти о том, что истинными победителями остались они.

Однако это было именно так. Польская и литовская шляхта, истомленная долгой осадой, сразу же после взятия города разошлась по домам, несмотря на все уговоры и посулы короля. Сигизмунд с одними наемниками был не в состоянии продвинуться дальше в глубь России и оказать существенную помощь засевавшему в Москве польскому войску. Восстановив укрепления и оставив в крепости гарнизон, он был вынужден вернуться в Варшаву. В России между тем начиналось народное движение за освобождение Москвы и восстановление Московского государства. Нужно было время, чтобы оно разрослось и набрало силу. Верный Смоленск и послужил ему, сам того не ведая, надежным щитом.

История обычно чуждается театральных эффектов. Ее герои, вышедшие на сцену в первом действии драмы, как правило, не доживают до заключительного. Для смолян было сделано исключение. Неисповедимыми путями приходят они в Нижний Новгород как раз тогда, когда Минин бросает свой клич. Смоляне всегда готовы, первыми откликаются они на призыв, образуя ядро собираемого народного ополчения. Потом в его рядах с боями доходят они до столицы, отражают у Новодевичьего монастыря и Крымского моста последний, самый страшный натиск войска гетмана Ходкевича, прорывающегося к осажденному в Кремле и Китай-городе польскому гарнизону, и наконец среди пылающей Москвы на Каменном мосту во главе с Пожарским принимают капитуляцию королевских рот, выходящих из Кремля через Боровицкие ворота (19).

Личная судьба смоленского воеводы Шеина также имеет определенный исторический интерес. Вернувшись из Польши по обмену военнопленными, он вскоре по указу царя Михаила Федоровича возглавил десятитысячную рать, отправленную отвоевывать потерянный Смоленск. Едва русские расположились под городом, отстроили палисад и деревянную крепость, острожек, как на помощь осажденным пришел со всей армией Владислав, теперь уже король Польши. Осаждающие оказались между двух огней и осажденными в свою очередь. Прорвать внешнее кольцо и дать бой в чистом поле русская рать не могла из-за численного и, главное, качественного превосходства регулярного польского войска; отсиживаться в окружении также не было никакой возможности, поскольку запасы продовольствия быстро подходили к концу. К тому же иностранные наемники, бывшие на этот раз под началом у Шеина, громко требовали сдачи, грозя бунтом и переходом в польский лагерь. Шотландцы принялись сводить

старые счёты с англичанами. Те и другие открыто показывали свое пренебрежение к требованиям воинской дисциплины. Полякам, со своей стороны, не было смысла лезть на русские укрепления; дожидаться же того, чтобы упорные москвиты перемерли с голоду или пошли на безоговорочную капитуляцию, тоже не хотелось — и так всю зиму пришлось провести в поле без дела. Так или иначе Шеину удалось выговорить условия выхода из окружения.

Утром 19 февраля русская рать без барабанного боя, со свернутыми знаменами и с затушенными фитилями вышла из своих укреплений и остановилась у подножия холма, где на коне сидел польский король, окруженный сенаторами и рыцарями. Русские знамена были положены у его ног, а знаменосцы отошли на три шага назад. Шеин и другие воеводы, спешившись, низко поклонились Владиславу. Пушки тут же были переданы победителям. Предложено было выйти из рядов тем, кто пожелает перейти на королевскую службу. Иностранцы вышли почти все, из московских людей 8 человек (из них 6 казаков). После этого Владислав в знак приязни к своему знакомцу еще со времен первой осады, воеводе Шеину, дозволил ему взять с собой 12 полковых пушек (последнее условиями капитуляции не предусматривалось). По знаку короля знаменосцы подняли и развернули знамена, стрельцы запалили фитили, раздалась дробь барабанов, и все войско двинулось восвояси по Московской дороге.

На этот раз все произошло на уровне лучших европейских стандартов: красочная мизансцена, музыкальное сопровождение и даже заключительный милостивый жест короля воспроизводили в деталях представления, которым Запад не раз был зрителем в эпоху Тридцатилетней войны. Опущенной оказалась лишь одна частности. Там побежденные полки в полном составе с охотой переходили под знамена великодушного, а главное, более щедрого победителя (ибо победитель, как правило, получал возможность быть щедрым). Здесь перешла лишь жалкая горстка москвитян.

Причиной столь странного для европейцев явления не могло быть какое-то особое озлобление русских против поляков. Несмотря на то, что борьба России против Литвы и Польши велась более трех столетий, в ней не видно того ожесточения, которое, например, всякий раз прорывалось в более коротких столкновениях русских с Орденом. В разгар Смуты русские города по доброй воле присягали Владиславу, а польско-литовская шляхта не раз выдвигала кандидатуру московского царя на престол Речи Посполитой. Московские щеголи, отправляясь на войну с Польшей, наряжаются в платья, сшитые по варшавской моде, и берут с собой в поход книги, переводы с польского. Вообще говоря, Речь Посполитая не должна была казаться русским ратным лицам, стоявшим у подножия холма, совершенно чуждым государством. Она включала в себя русские земли, пользовавшиеся широким самоуправлением. Русские магнаты Острожские, Вишневецкие, Ходкевичи, Чарторыйские, Сапег и другие вошли в высший слой польской аристократии, оттеснив чисто польских по своему происхождению Пястов. И, напротив, до трети всех боярских и дворянских семей в Московии произошли от выходцев из Польши и Литвы. Иногда граница разрезала одну семью.

Так, князь Мосальские, служившие и Варшаве и Москве, вполне могли встретиться друг с другом на поле боя. Польский король был одновременно и «князем русским». Почему бы русским дворянам и детям боярским, этим «холопам государевым», составлявшим ядро войска Шеина, не признать Владислава своим князем, не выбрать шляхетскую «злату вольность», не оставить тяжкую и неблагодарную службу царскую ради вольготной и хорошо оплачиваемой королевской, почему бы не распроститься с московским кнутом и батогами? Не последним по силе доводом был еще и голод. Русские ратные люди были голодны. За три месяца сидения в осаде недоедание успело смениться самым настоящим голодом. Многие от слабости едва держались на ногах. И многие были больны: уже давно в костры пошло все, что могло гореть. Последние недели приходилось днествовать и ночевать на морозе.

Польский лагерь совсем рядом, манит дымком, запахом горячей пищи. Москва далеко, на другом конце снежной пустыни. Как еще встретит она свое опозоренное воинство? Больным лишь нечего бояться — для них довольно места по обеим сторонам Смоленской дороги. И все же нельзя выходить из рядов. Нужно стоять, опустив от стыда головы, а потом идти. Жить не необходимо, идти необходимо. Туда, где бьется суровое сердце России.

Пятая часть вышедшей из-под Смоленска рати погибла в пути. Шеин в докладе, представленном боярской думе, привел точную цифру убыли от болезней: 2004 ратника. Они тоже сказали свое «нет!».

Кремль не оценил дипломатического искусства своего воеводы. Шеину и его молодому помощнику Измайлову было предъявлено обвинение в государственной измене. Бояре выговорили им: «А когда вы шли сквозь польские полки, то свернутые знамена положили перед королем и кланялись королю в землю, чем сделали большое бесчестие государеву имени...» Выговор завершился приговором... Палач, подойдя к краю помоста, поднял обе головы над толпой, чтобы их хорошо видели все: пусть замолчат те, кто толкует о том, что московскому люду не под силу стоять против литовского короля; пусть Польша полюбуется на плоды своего рыцарского великодушия; пусть ждет новую рать и пусть знает, что, если даже вся Смоленская дорога превратится в сплошное кладбище, Смоленск все же будет русским (20).

Тот же дух пронизывает указы и распоряжения Петра I. Пытаясь излечить свою армию от шока, полученного под Нарвой, Петр дает следующее указание: «Я приказываю вам (солдатам и казакам, составляющим вторую линию. — *Ф. Н.*) стрелять во всякого, кто бежать будет, и даже убить меня самого, если я буду столь малодушен, что стану ретироваться от неприятеля» (21). В составленном царем морском уставе говорится: «Все воинские корабли Российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпелы и марсели, под страхом лишения живота» (22). Ни один европейский государь не отдавал никогда подобных распоряжений, ни один европейский морской устав не грозит смертной казнью за сдачу потерявшего боеспособность корабля.

Не только в понимании воинского долга отличалась Россия от Европы. Столь же глубоким было и различие в поведении мирных жителей во время войны. На Западе давным-давно установилось фактически, а затем было закреплено и в правовых нормах деление на «комбаттантов (воинов) и «нон-комбаттантов» (обывателей). Первые

должны по возможности щадить вторых, а вторые беспрекословно выполнять приказания первых, не вмешиваясь в их дела. Война — королевская забава; чернь имеет к ней отношение лишь постольку, поскольку оплачивает ее. Эту истину вбивали в народное сознание веками. И вот результат: пока Карл XII осаждает столицу Дании, датские крестьяне исправно снабжают шведские войска провиантом. Это в порядке вещей, и Вольтер в своей «Истории Карла XII» почти с умилением говорит о прекрасных отношениях, установившихся между завоевателями и мирными (поистине мирными) жителями (23). Когда испанцы поднялись на народную борьбу против наполеоновской армии, вся цивилизованная Европа осудила их «слепой фанатизм», предпочтя строить свои отношения с оккупационной французской армией по «датскому образцу».

Народные традиции Российского государства отличаются в этом смысле от западноевропейских. Одна из причин этого заключается, пожалуй, в том, что простой, «черный» народ, обремененный налоговым тяглом, никогда не был полностью свободным и от обязанностей воинской службы. Не только дети боярские, дворяне и стрельцы, но и «черный» посадский люд вместе с черносошными крестьянами должен был оборонять крепостные стены «украинных» городов и засечные черты. Войско Стефана Батория во время осад русских городов имело против себя не только царские гарнизоны, но и все «мирное» население, включая женщин и стариков, попов и монахов (24). В начале XVII века вновь возникает народное ополчение, чтобы очистить страну от польско-шведских интервентов. Вскоре после окончания Смуты воеводы отписывают царю с мест о том, что за неимением дворян и стрельцов они стоят против литовских ратных людей со своими «черными» людьми. После страшного поражения московской дворянской конницы под Конотопом царь Алексей Михайлович одним росчерком пера перевел целый разряд черносошных крестьян на южных «украинах» в драгуны: очевидно, и раньше при постоянном общении с «диким полем» русские мужички были привычны к оружию. И не только русские. В Северную войну белорусские и украинские мещане и крестьяне повсеместно с оружием в руках поднимаются против шведов (25).

Вообще говоря, всякий раз, когда иностранная армия вторгалась в Россию, война неизбежно перерастала в народную. К 1812 году Смоленск, наверное, сам забыл об осаде 1609—1611 годов, но это не помешало его жителям пойти по пути их далеких предков: смоленские мещане, узнав, что армия Багратиона должна оставить город, помогают пожару, занявшемуся от французских ядер, распространиться шире; поджигают свои дома со всем скарбом; толпами уходят на восток вместе с армейскими обозами или расходятся по окрестным деревням, разнося с собой горящие угли народной войны.

Крестьяне между тем, по словам Л. Н. Толстого, «не везли сена (французам) за хорошие деньги, которые им предлагали, а жгли его» (26). Когда же французские фуражиры попытались воспрепятствовать этому, с их точки зрения, бессмысленному занятию, в ход пошли топоры и вилы.

Отдельный эпизод иногда ярче освещает суть дела, чем полный обзор событий. Тот, что нам хотелось бы привести здесь, относится к началу Северной войны. Для Карла XII народная война на Украине и в Белоруссии не была неожиданностью. Еще в 1701 году он отверг план сухопутной экспедиции против Архангельска, указав на то, что шведский отряд, если даже избегнет непосредственного столкновения с русским регулярным войском, неминуемо на своем долгом пути подвергнется нападению русских крестьян (27). Опыт предыдущих шведско-русских войн показал, что различие между «комбатантами» и «нон-комбатантами», с полной отчетливостью выступающее на Западе, в России весьма и весьма относительно. В данном случае шведский король был, несомненно, прав, и в том же, 1701 году одно на первый взгляд случайное событие подтвердило всю обоснованность его опасений.

В июле 1701 года шведская эскадра в составе семи боевых кораблей входит в Белое море и направляется к Архангельску, чтобы согласно королевской инструкции «сжечь город, корабли, верфи и запасы». Шведы знают, что русские считают Архангельский порт своим глубоким тылом, а потому и рассчитывают на внезапность диверсии. Операция закончилась, однако, провалом. Шведский историк XIX века А. Фриксель, используя сохранившуюся в архивах документацию, объясняет следующим образом неудачу экспедиции:

«Когда шведские корабли вошли в Белое море, то они стали искать лоцмана, который сопровождал бы их в дальнейшем пути в этих опасных водах. Два русских рыбака предложили тут свои услуги и были приняты на борт. Но эти рыбаки направили суда прямо к гибели шведов, так что два фрегата сели на песчаную мель. За это оба *предательски действовавших лоцмана* (так выделено мной. — Ф. Н.) были избиты возмущенным экипажем. Один был убит, а другой спасся и нашел способ бежать. Шведы взорвали на воздух оба своих фрегата и затем возвратились в Готенбург. Царь Петр тотчас вслед за тем поспешил в Архангельск, одарил деньгами, а также из собственной одежды рыбака, который с опасностью для своей жизни посадил на мель шведские корабли, и назвал его вторым Горацием Коклесом» (28).

Русские источники кое-что добавляют и исправляют в шведской версии события. Архангельский воевода князь Прозоровский через голландских купцов был осведомлен о готовившейся экспедиции, а потому запретил рыбакам выходить в море. Дмитрий Борисов и Иван Рябов ослушались приказа воеводы и были захвачены шведами, которые угрозами и посулами принудили их показать безопасный путь к берегу для высадки десанта. Лоцманы, как видно, действительно хорошо знали свое дело, коль скоро не только посадили на мель шведские фрегаты, но сделали это как раз напротив недавно поставленной береговой батареи. После десятичасовой перестрелки русские пушки разбили оба корабля (другие, опасаясь мелей, держались вдалеке), шведы не взорвали их, а покинули на шлюпках. Русские «обрили» на шведских судах 13 пушек, 200 ядер, 850 досок железных, 15 пудов свинца и 5 флагов. Дмитрий Борисов был застрелен на палубе шведского флагмана, а Иван Рябов выбросился за борт и вплавь добрался до берега, после чего был засажен в острог за самовольный, вопреки указанию воеводы, выход в море

(29).

Князь Прозоровский, следует признать, действовал более в духе своего общества, нежели царь Петр. Он, конечно, доволен поступком рыбаков и даже избавляет Рябова от причитавшихся ему бато́гов, но не разделяет восторга Петра. Будь на месте Ивашки с Митькой, думал воевода, Сидорка с Карпушкой, то, наверное, тоже не оплошали бы; чего же ради смотреть на Рябова как на чудо морское? За выполнение долга не требуется особой благодарности.

Европейский взгляд, выраженный А. Фрикселем, прямо противоположен первому. Характеризуя действия рыбаков как предательские, он подразумевает, что Рябов с Борисовым поступили бы разумно и порядочно, если бы указали шведам слабые места русской обороны и, пересчитав добросовестно заработанные деньги, с низким поклоном удалились. Разные шкалы этических ценностей действуют на западной и на восточной частях одного континента.

Петр попытался применить европейское понятие героизма к российской действительности, но, наверное, не был понят окружающими. Его подданные классического образования не имели, Тита Ливия не читали, а поэтому приняли Горация Коклеса скорее всего за одного из тех лихих голландских капитанов, с которыми любил бражничать государь.

Вообще в этой стране было неведомо, что такое героизм в том смысле, как его понимали на Западе. Мост через реку Каланэбра в Эстляндии шведы успели облить горячей смесью и поджечь до подхода русских. По приказу Петра солдаты, бросив на горящие мостовые клетки бревна, ползком перебираются по ним на другую сторону и штыковым ударом выбивают шведов из предмостного укрепления (30). Первоисточник сухо сообщает об этом бое местного значения и не упоминает, были ли после него розданы награды: такое поведение солдат в порядке вещей. Было бы очень трудно растолковать прошедшим через огонь гренадерам сущность героического.

Героизм в его классическом понимании всегда есть исключение из правила. Герой, то есть сын бога, полубог, совершает непосильные простым смертным деяния. Он возвышается над толпой, которая служит пьедесталом для его неповторимой личности. Долг, совесть, различие добра от зла — все это хорошо для низкой черни, не для него. Цезарь Борджа, а потом Наполеон Бонапарт — любимые герои Европы, в них видела она апофеоз своего индивидуализма. Но такая компания вряд ли подходит скромному Ивану Рябову, и на пьедестале он должен чувствовать себя не слишком удобно.

Со времен Петра понятие героизма все же вошло в обиход русской мысли, но при этом оно обрусело, потеряло первоначальную исключительность. Антитеза между героем и толпой как-то незаметно стерлась, и на ее месте появилось маловразумительное для европейца словосочетание «массовый героизм», то есть что-то вроде исключения, которое одновременно является и правилом.

Это всего лишь один из примеров того, как в одни и те же слова люди Запада и русские люди вкладывают весьма различное содержание. Подробный семантический анализ лексики — предмет особого исследования. Мы же, чтобы не отходить далеко от нашей основной темы, ограничимся только указанием на тот узел, к которому сходятся важнейшие различия.

Уинстон Черчилль находил, что русские всегда грешили идолопоклонством по отношению к своему государству. Слова эти весьма характерны для англичанина, гордого своей Великой хартией вольностей, привыкшего смотреть на государство как на «Commonwealth», как на средство «всеобщего благосостояния», как на своего рода компанию, за которую ее пайщики несут всего лишь ограниченную ответственность. И его можно понять: никогда со времен Вильгельма Завоевателя островное королевство не подвергалось иностранному вторжению, никогда Темза не бывала запружена трупами лондонцев и никогда страна не испытывала тех ужасов войны, которые пережила русская земля.

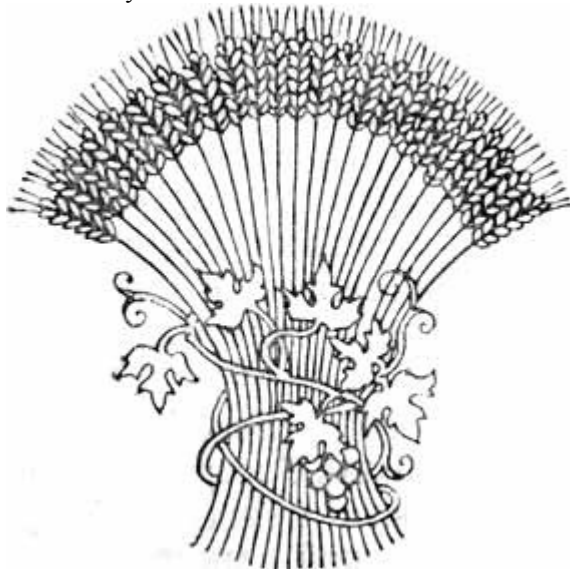
«Каждый русский сознает себя частью всей державы, — пишет А. И. Герцен, — сознает родство свое со всем народонаселением. Оттого-то, где бы русский ни жил на огромных пространствах между Балтикой и Тихим океаном, он прислушивается, когда враги переходят русскую границу, и готов идти на помощь Москве так, как шел в 1612 и 1812 годах» (31).

Н. Г. Чернышевский отмечает, что есть страны, где «части одного и того же народа готовы жертвовать областному интересу национальным единством. У нас этого никогда не было (за исключением разве Новгорода): сознание национального единства всегда имело решительный перевес над провинциальными стремлениями... Распадение Руси на уделы было чисто следствием дележа между князьями... но не следствием стремлений самого русского народа. Удельная разрозненность не оставила никаких следов в понятиях народа, потому что никогда и не имела корней в его сердце...» (32).

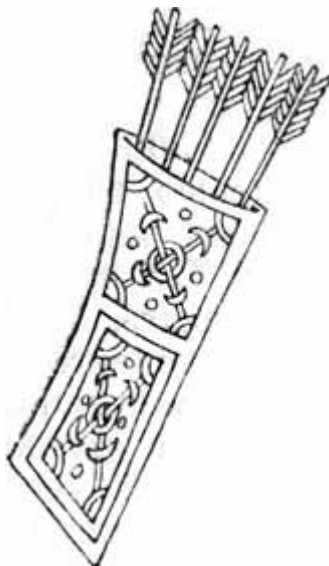
Эта особенность русского народа хорошо сознавалась и его врагами, если только злоба не застилала их глаз. Так, князь Бисмарк предостерегал сторонников нападения на Россию: «Об этом можно было бы спорить в том случае, если бы такая война действительно могла привести к тому, что Россия была бы разгромлена. Но подобный результат даже и после самых блестящих побед лежит вне всякого вероятия. Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах собственно русских... Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезаемого кусочка ртути. Это неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей...» (33)

Вот, собственно, ключ к пресловутой русской загадке. Он кроется в особом отношении русского народа к своему государству, в безусловном служении ему... Русские «чувствуют себя частицей одной державы». Для нее, если требовалось, они оставляли на произвол судьбы нажитое добро, поджигали свои дома, оставляли на гибель

родных и близких, отдавали ей столько крови, сколько нужно, чтобы выволить ее из беды. Взамен платы не спрашивали — они не наемники. Таким-то узлом и завязалась Россия.



МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ



Какое место занимают Московское царство и Российская империя в ряду других многонациональных империй? Какой отпечаток наложили особенности великорусского национального государства, сложившегося в XIV—XV веках, на межнациональные отношения в российской державе XVI—XIX веков? В чем состояло своеобразие взаимоотношений, с одной стороны, между господствующими классами и, с другой — между трудовыми массами русского и нерусских народов, населявших Московское государство и Российскую империю?

Прежде чем говорить о своеобразии межнациональных отношений в пределах Российской державы, следует отметить черты общности между ней и любой другой европейской или азиатской многонациональной империей. Главнейшим родовым признаком такого типа государств является, как известно, национальный гнет. Российская империя не составляла, конечно, исключения из общего правила. Царская Россия подобно любой другой крупной европейской державе XVI—XIX веков проводила свою колониальную политику и подобно любой другой колониальной империи Запада являла собой «тюрьму народов». В этом она несколько оригинальна не была, ничего нового по части ограбления и выжимания пота из покоренных народов не изобрела, и ничего исключительного в российской «тюрьме» по сравнению с британским, французским, бельгийским, португальским и другими «застенками» не произошло. Русско-японская война, решавшая, на чьей стороне «право» грабежа Кореи и Маньчжурии, — обычный инцидент по сравнению с цепью англо-испанских и англо-французских колониальных войн, тянувшихся вереницей через XVI, XVII, XVIII и XIX века. Завоевание Россией Средней Азии не может быть, конечно, поставлено на одну доску с имперским подвигом маленькой Англии, которая заглотала, не поперхнувшись, огромную Индию. Кровавые страницы истории «замирения» Кавказа отнюдь не превосходят по своей жестокости трагическую хронику «умиротворения» Алжира. Ермак, громивший Сибирское ханство, Хабаров, разорявший мирные поселения по берегам Амура, Атласов, убитый его же казаками за жестокость в обращении с камчадалами, не идут в сравнение с кровавыми злодеяниями Писсаро и Кортеса. Вообще по части «колониальной романтики» России трудно тягаться с Западом, и недаром в русской литературе, совсем не бедной талантами, не нашлось места для подражания Редьярду Кипплингу.

Своеобразие многонациональной России лежит в иной плоскости. Первое ее отличие от империй Запада заключается в том, что своим возникновением она обязана не только и даже, быть может, не столько завоеванию, сколько мирной крестьянской колонизации и добровольному присоединению к ней нерусских народов.

Испания завоевана вестготами, завоевана арабами, а затем снова отвоевана в ходе Реконкисты. Британия завоевана англами и саксами, Англия завоевана норманнами. Галлия завоевана франками. Германия мечом и огнем берет у славян добрую половину своих земель, расположенных к востоку от Эльбы. Волны завоевателей несколько раз проходят по Италии. Повсеместно победители либо истребляют побежденных полностью, как предположительно сделали англосаксы с бриттами, немцы (не предположительно) — с пруссами и т. д., либо ограничиваются истреблением местной родовой аристократии и возникающего феодального класса и сами занимают его место (норманны в Англии, франки в Галлии и т. д.). В обоих случаях народ-победитель, народ-господин ставит между собой и покоренными или истребляемыми врагами кастовые преграды. И те же самые черты, усугубленные расизмом, четко проявляются при создании европейских заморских колониальных империй.

Славяне расселяются по Восточноевропейской равнине, мирно обтекая островки угро-финских племен, оторвавшихся от своего основного этнического материка. Между пришельцами и коренным населением не возникает отношений господства и подчинения; редко случаются вооруженные столкновения, ибо земли, основной предмет эксплуатации со стороны славянских поселенцев, обширны, заселены крайне редко и не представляют собой сельскохозяйственной ценности в глазах финнов, охотников и рыболовов. Славянская община постепенно включает в себя на равных основаниях угро-финские поселения. «Повесть Временных лет» рассказывает, что в «призвании варягов» наряду со славянскими племенами принимала участие финская чудь — никакого намека на неравенство между различными этническими группами сообщение не содержит. Варяги, со своей стороны, удивительно быстро смешиваются с возникающим из среды славянской племенной аристократии феодальным классом. Никаких перегородок, подобных тем, что воздвигли победители норманны между собой и побежденными англосаксами, здесь не было. На юге и юго-востоке, в приграничной с «диким полем» полосе, та же самая картина: тюркские племена берендеев, черных клобуков, торков, выброшенные из степи жестокой конкуренцией за пастбища со своими сородичами, оседают, с позволения киевских князей, среди славянского населения и растворяются в нем в течение жизни одного-двух поколений. Говоря в целом, в Киевской Руси классовое размежевание раннего феодального общества, его сословная градация не знают этнических границ.

Великороссия, возникшая из пепла и развалин Древней Руси, воспринимает по наследству ее могучую пластическую силу. Вот как, к примеру, шло освоение русскими и обрусение обширной области, прилегавшей к Студеному морю, то есть к Белому и Баренцеву морям. «Свое привычное земское устройство, — пишет историк С. Ф. Платонов в очерке «Прошлое Русского Севера», — русские поселенцы прививали и туземцам, когда крестили «дикую лопь» или «корельских детей» в православную веру. Корел и лопарь, принимая христианство, вместе с новой верой и русским именем принимали и весь облик русского человека, «крестьянина», складываясь в погосты вокруг церкви или часовни, и начинали жить русским обычаем в такой мере, что по старым грамотам нет возможности отличить коренного новгородца от инородца-новокрещена» (1).

Тот же процесс продолжался и за Уралом. Официальное издание «Азиатская Россия» (1914) свидетельствует:

«Браки русских с инородцами совершались во множестве. В результате получалось широкое и повсеместное смешение русских со всевозможными инородческими племенами. В Березовском и Сургутском уездах Тобольской губернии русские старожилы напоминают остяков своими скуластыми лицами и узким разрезом глаз. Пелымцы похожи на вогул. В Барабе и приалтайской местности русскими усвоены татарские и киргизские черты... В Кузнецком, Бийском и Барнаульском уездах, напротив, русские оказали могущественное расовое влияние на инородцев, которые значительно обрусели благодаря смешанным бракам с русскими; целые волости населены как бы новой разновидностью русского племени, представители которой говорят на несколько испорченном русском языке.

В Северном Алтае русские заимствовали от инородцев многие части одежды, способы передвижения, отчасти пищу и способ ее приготовления» (2).

Из того факта, что русская крестьянская колонизация проходила на обширнейших территориях мирным путем, сопровождаясь ненасильственной ассимиляцией коренного населения, совсем не следует того, что она всегда носила мирный характер. Наступление на степь (точнее говоря, контрнastупление) велось казачеством, то есть вооруженным русским и украинским крестьянством. Иногда победы правительственных войск (например, взятие Казани в 1552 г.) расчищали пути для невооруженной крестьянской колонизации. Но в любом случае, была ли эта колонизация мирной, полумирной или немирной, между ней и аналогичным, казалось бы на первый взгляд, процессом в колониальных империях Запада существовало принципиальное различие.

Немецкие крестьяне, привлекаемые из Германии Тевтонским орденом для заселения Прибалтики, сразу ставились в положение народа-господина по отношению к местному земледельческому населению. То же самое в английской колонизации Ирландии. То же самое во французской колонизации Алжира, голландской — Южной Африки, еврейской — Палестины и т.д. и т.п. Ни о какой общей платформе для совместных действий между грабителями и ограбленными — между немецким колонистом и латышским крестьянином, между солдатом Кромвеля, получившим кусок ирландской земли, и его соседом-католиком, между французским виноделом и обезземеленным алжирским феллахом, между фермером-буром и крестьянином из народностей банту, между сионистским кибутцем и арабской общиной — не могло быть и речи. Но вот в каком духе высказывается с трибуны III Государственной думы представитель мелкобуржуазной националистической армянской партии

«дашнакцутюн»: «Я от имени всего кавказского крестьянства заявляю... в решительный момент все кавказское крестьянство пойдет рука об руку со своим старшим братом — русским крестьянством — и добудет себе землю и волю» (3). (Оно и пошло в 1918 году, несмотря на раскольническую политику армянских дашнаков, грузинских меньшевиков, азербайджанских мусаватистов).

В чем же здесь дело? Неужели армянское крестьянство, грузинское, азербайджанское и т. д. испытывало братские чувства к русским переселенцам, осевшим на обработанных его трудовыми руками землях? Удивление, пожалуй, возрастает еще более при чтении следующей выдержки из работы В. И. Ленина «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов»:

«Эти многие миллионы десятин и в Туркестане и во многих других местах России «ожидают» не только орошения и всякого рода мелиорации, они «ожидают» также освобождения русского земледельческого населения от пережитков крепостного права, от гнета дворянских латифундий, от черносотенной диктатуры в государстве...

Россия обладает гигантским колониальным фондом, который будет становиться доступным населению и доступным культуре не только с каждым шагом вперед земледельческой техники вообще, но и с каждым шагом вперед в деле освобождения русского крестьянства от крепостнического гнета... Этот фонд будет становиться тем шире и тем доступнее, чем свободнее будет крестьянство в коренной России и чем больший простор получит развитие производительных сил» (4).

Как? К использованию русским крестьянством «гигантского колониального фонда» в Туркестане и во многих других местах России призывает непримиримый противник русского империализма, русского великодержавного шовинизма, угнетения русской нацией других народов? Да, это так. И никакого противоречия здесь нет. Вот какую картину взаимоотношений между русскими крестьянами-переселенцами и коренным населением Туркестана и других национальных окраин империи, между русскими колонистами и русскими колониальными властями, между этими властями и нерусскими народами рисует в своем исследовании «Русское крестьянство» С. М. Степняк-Кравчинский:

«Русская завоевательная политика на Востоке проходит через два этапа. На первом этапе, сразу после завоевания или мирного присоединения края, русское управление представляется в самом выгодном свете. Устанавливается порядок, исчезает рабство и расовая дискриминация, вводятся равные законы для всех, и уважение к ним достигается строгостью, умеряемой справедливостью. Управлять вновь приобретенными краями посланы лучшие люди империи, такие, как граф Перовский, Муравьев-Амурский, Черняев, Кауфман, у которых честолюбие сильнее, чем алчность.

В этот период русскими поселенцами там были почти исключительно крестьяне; их призывали переселиться на новые земли для уппрочения позиций империи и поощряли такие переселения. Русские мужики охотно откликнулись на призыв. Слова «свободные земли» производили на них магическое действие, и они, прослышав о них, стекались со всех сторон туда, где можно было найти такое счастье. Тысячи русских деревень были совсем недавно (книга «Русское крестьянство» была издана в 1888 году — *Ф. Н.*) основаны на Амуре, на обширных равнинах Южной Сибири, среди башкир, киргизов и калмыков Уфимской, Оренбургской и Самарской губерний. Часть переселенцев предшествовала завоевателям, проникая в соседние области за несколько десятков лет до того, как туда приходила армия. Присоединение этих областей к империи усиливало поток переселенцев. Но в этих краях земли много, поэтому никто не пострадал от их вторжения. Крестьяне брали себе лишь столько земли, сколько могли обработать собственными руками, никогда не присваивая ни одной лишней десятины. К тому же они почти никогда не отказывались входить в дружественные соглашения с коренным населением... Крестьяне Астраханской, Самарской или Оренбургской губерний часто даже платили кочевникам ежегодную дань деньгами или продовольствием за присвоенные ими земли. Однако земельная рента в этих краях была настолько низка, что чиновников и капиталистов не соблазняло приобретение там имений. Так что для пахарей, как русских, так и туземных, земли хватало.

Положение изменилось, когда с ростом народонаселения уменьшились пространства свободной земли и значительно повысилась ее ценность. К этому времени восточные области были прочно включены в состав империи, и для управления ими не требовалось ни особого умения, ни осторожности. На смену людям талантливым, энергичным и честолюбивым пришли обыкновенные чиновники, и они начали с того, что стали вводить новые методы «русификации». А их «помощь» новому краю выражалась в том, что они беззастенчиво отбирали землю как у туземцев, так и у своих соотечественников — русских переселенцев.

...Земля, официально значившаяся свободной для пользования, на протяжении многих поколений находилась во владении местных башкир либо русских поселенцев, приехавших сюда годы назад из внутренних губерний. Но как раз этот факт делал «свободные» угодья особенно привлекательными для хищников, предоставляя им возможности дополнительного обогащения. Некто Юзифович, например, купил имение в 1017 десятин за 4804 руб. и перепродал его крестьянам за 25 тыс. руб. Другой уплатил в казну за имение 506 руб., а несколько дней спустя перепродал крестьянам за 15 тыс. руб...

Разумеется, лишь немногие крестьяне были в состоянии платить такие арендные деньги за свою собственную землю. И тогда оставалось либо выселиться, либо идти в своего рода крепостную зависимость, т. е. работать даром в имениях своих новых бар в счет оплаты за ту частицу земли, которую те соизволят выделить. Так, вся масса сельского населения в этих губерниях была доведена до полного разорения, нищеты и голода» (5).

Описание русской крестьянской колонизации в XIX веке остается в целом справедливым и для XVIII, и для XVII, и для XVI веков. Важнейшая черта русского колониального движения состояла в том, что миграционные потоки направлялись на не освоенную ранее землю. Русские крестьяне, поднимая целину, распространили Россию от Прибалтики до Тихого океана, от Белого моря до песков Средней Азии. Ни у одного земледельческого народа,

будь то в Поволжье, на берегах Балтики, в Закавказье, в бассейне Амударьи и Сырдарьи, землю не отобрали.

В этом смысле образование гигантской России явилось прямым продолжением и воспроизведением процесса образования в междуречье Оки и Волги этнического ядра Великороссии.

Нигде русские переселенцы не ущемили жизненно важных интересов и кочевого населения: степь широка, в ней места хватало и для русского поля, и для пастбищ скотоводов. Напротив, в страшные годы бескормицы и массового падежа скота русское зерно и мука становились серьезным подспорьем в жизни кочевых племен. (Это, между прочим, хорошо понимала царская администрация. Так, оренбургский губернатор Д. Волков, говоря о способах воздействия на казахские орды, доносил в 1749 году в Петербург: «...Через хлеб скорее с той стороны сыщется польза, нежели через все другие способы» (6). Разрешая или запрещая русским купцам торговать хлебом с той или иной ордой, «склоняли» ее к «принятию подданства»...) Не было причин, материальных причин к тому, чтобы русские крестьяне и казаки становились в непримиримо враждебные отношения к нерусским народам, и не было причин для яростной, слепой ненависти с другой стороны. Нигде русская община не напоминает английскую колонию, нигде не держится обособленно-высокомерно по отношению к «туземцам», повсеместно она органично вращается в окружающую иноплеменную среду, завязывает с ней хозяйственные, дружеские и родственные связи, повсеместно, срастаясь с ней, служит связующим звеном между нерусскими и Россией. Не было комплекса «народа-господина», с одной стороны; не было и реакции на него — с другой, а потому вместо стены отчужденности выковывалось звено связи.

Другой характерной и отличительной чертой Московского государства и Российской империи было действительно добровольное вхождение в их состав целого ряда народов, заселяющих огромные области: Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Кабарды, Казахстана и др. История никакой иной европейской или азиатской империи не знает ничего подобного. Вестминстерский дворец, скажем, никогда не видел в своих стенах посольства, прибывшего с просьбой о включении своей страны во владения британской короны. А для палат Московского Кремля не были редкостью сцены вроде следующей.

В 1658 году царь Кахетии Теймураз I рассказывает Алексею Михайловичу и боярской думе горестную историю своей семьи. Ее запись сохранилась в бумагах Посольского приказа. «Когда мать моя с внуком приехала к старому шаху (Ирана), — говорил Теймураз, — и била челом, чтобы он взял внука в аманаты (заложенники) и брал с государства дань, а разорения не чинил, то шах сказал моей матери, чтобы она послала и другого своего внука Леона, а он, шах, которого внука в аманаты захочет, того и возьмет, а другого отпустит. Моя мать взяла и другого внука Леона, но шах матери моей и детей не отпустил, а прислал к ней, чтобы она обусурманилась (приняла ислам)... Она отказала (сказав), что отнюдь веры христианской не отбудет. Тогда Шах отдал ее под стражу и велел мучить: сперва велел сосцы отрезать, а после закаленными острогами исколоть и по суставам резать; от этих мук мать моя пострадала за Христа до смерти, а тело украл и привез ко мне доктор француз; детей же моих обоих шах извалошил (кастрировал), и теперь они у него» (7). После этих слов Теймураз бросился в ноги к русскому царю, умоляя принять несчастный народ Кахетии под свою высокую руку и спасти его от окончательного истребления.

Для самой Москвы то было трудное время. Совсем недавно пришла весть о гибели дворянской московской конницы под Конотопом; столица оказалась без прикрытия, и ее жители вышли восстанавливать обветшалые укрепления. Все же далекой Кахетии помогли чем смогли: послали пушки, пищали и порох, денег и соболиной казны, иконы (среди них одну «чудотворную») и монахов для наставления в православии. Еще раньше государевым послам, направлявшимся в Персию, были даны указания отвращать шахский гнев от грузинских земель всеми средствами, включая предоставление широких льгот персидским купцам в торговом договоре.

Чтобы правильно понять смысл обращения Теймураза к русскому царю в Грановитой палате, нужно подняться вверх по течению истории еще лет на двести. В 1453 году Византия, раздавленная напором турецкого нашествия, прекратила свое существование. Еще раньше распался и попал под пяту иностранных поработителей круг земель, освященный некогда византийской цивилизацией. Чужеземное господство над Арменией, Грузией, Грецией, Болгарией, Сербией и Черногорией, Валахией и Молдавией, Украиной и Белоруссией усугублялось религиозным антагонизмом между победителями и побежденными. Если феодальная эксплуатация в рамках единой религиозной общины до некоторой степени ограничивалась моральными нормами, то по отношению к иноверцам всякая мораль отбрасывалась, и на место идеологического воздействия со стороны правящего класса становились неприкрытое насилие, каждодневный произвол и массовый террор в случае возмущения.

Только Московское царство среди прочих православных государств смогло сбросить с себя иноземное иго и добиться «самодержавия», то есть полной самостоятельности, независимости от власти какого-либо иностранного государя. По времени возвышение Москвы совпало с падением Константинополя, а потому и роль политического оплота православия немедленно перешла от Византии к Московии. Женитьба Ивана III на Софье Палеолог, которая передала своему супругу и потомству права на корону византийских императоров, лишь добавила юридическую санкцию к действительному положению дел. Подобно тому как в XIV—XV веках русская православная церковь обращала взоры своих прихожан к Москве как к центру сплочения всех русских земель в борьбе против Золотой Орды, так позднее, в XV—XIX веках, вся вселенская православная церковь указывала на Московский Кремль как на твердыню «истинной веры», как на последнюю надежду всех угнетенных, гонимых и страждущих православных христиан.

Историческая роль покровительницы единоверных народов воспринималась Россией вполне серьезно. В деле освобождения от варварского турецкого владычества Сербии, Черногории, Греции, Болгарии, Румынии был весомый вклад и русской кровью.

То же самое можно сказать и в отношении тех народов, которым суждено было войти в состав Российского государства.

Впервые Кахетия обратилась за помощью к России в 1587 году, то есть за 70 лет до приезда в Москву Теймураза. Его предшественник, царь Александр, «бил челом со всем народом, чтобы единственный православный государь принял их в свое подданство, спас их жизнь и душу» (8). Просьба была уважена. В грузинские крепости были введены московские стрельцы с «огненным боем», то есть с пушками и пищальми. Это было сделано в ущерб экономическим интересам России. Московия в обмен на меха покупала в Персии шелк и затем с большой выгодой перепродавала его на Запад. От этой важной статьи доходов в государственной казне пришлось в время отказаться, так как шах-ин-шах почел себя обиженным тем, что русские вторглись в его вассальное владение. Но вскоре в самой Кахетии произошел переворот в пользу персидской ориентации. Царь Александр был убит его сыном, который принял ислам, впустил персидские войска в страну и предложил русским вернуться восвояси — почти все они погибли на обратном пути от нападений горцев-мусульман. (Такой поворот, кстати сказать, не предотвратил страшного разгрома, которому подверг Кахетию шах Аббас в 1614 году.)



Как в период сплочения русских земель вокруг Москвы в XIV—XV веках, так и в позднейшую эпоху объединения уже нерусских земель в пределах многонациональной России прослеживается один и тот же исторический ритм, вызванный внутренней противоречивостью процесса интеграции. В близкой ли Рязани или в

далекой Кахетии действовали одновременно центростремительные и центробежные силы и стремления. Из их противоборства и рождались попеременно местные «приливы» к Москве и «отливы» от нее. Легко различить общие фазы таких политических циклов, которые, повторяясь и затухая, вели к полному государственному объединению: 1) обращение к Москве за военной помощью; 2) помощь получена, и кризис преодолен; 3) военное присутствие Москвы (России) начинает тяготить, появляется стремление освободиться от политической зависимости; 4) восстановление домосковского статус-кво чаще всего в союзе с прежними врагами; 5) возобновление, как правило, в гораздо более острой форме старого кризиса; 6) возвращение к Москве.

История воссоединения Украины с Россией служит нагляднейшим тому примером. Богдан Хмельницкий, как и казацкие вожди до него, не раз обращался к России с просьбой о присоединении. Московское правительство долго колебалось и, каким бы самодержавным оно ни было, не решалось самостоятельно, без совета «со всей землей», начинать войну против сильнейшей Речи Посполитой. Созываются два Земских собора в 1651 и в 1653 годах. Колебания и нерешительность Москвы более чем понятны: отношения между Польшей и Швецией, блокировавшей выход России к Балтике, накалились до предела. Разрыв между ними стал неизбежен, что давало царю возможность в союзе с Речью Посполитой разрешить наконец ливонский вопрос. После тяжких поражений Московия копила свои боевые силы именно для борьбы в Прибалтике, а тут мольба о помощи терзаемой Украины!

Все же Земский собор 1653 года высказывается за принятие Малой Руси «под высокую руку государя всея Руси», и едва окрепшая Россия вновь вступает в четырнадцатилетнюю войну. Удар царских войск в белорусском направлении приковывает туда основные польские силы, что позволяет казакам очистить от панов всю Украину. Вторая фаза завершена, начинается третья.

Преемник Богдана Хмельницкого гетман Выговский поднимает призывом к самостийности против «москалей» малороссийские города, которые изгоняют иногда подобру-поздорову, а иногда и вооруженной рукой царские гарнизоны. Сам он вместе с крымским ханом громит под Конотопом дворянскую московскую конницу. После такой победы «самостийность» по отношению к Москве немедленно оборачивается зависимостью от Польши, которая спешит признать привилегии казацкой старшины, чтобы вернуть под панский гнет рядовых казаков и украинское крестьянство. Все возвращается на круги своя.

Начинается новый цикл. «Черная рада», то есть такая, на которой присутствует «черный люд», сбрасывает Выговского, избирает гетманом Юрия Хмельницкого, бьет челом перед царем о возобновлении «статей» Переяславской рады и о помощи против Польши. Московское войско вновь вступает в Украину, но и оно, преданное казацкой верхушкой, вынуждено капитулировать перед поляками под Чудновом (1660 г.).

Потом были новые рады, новые гетманы (иногда по два, по три враз), новые челобитья и новые измены. Дело дошло до того, что крымские татары, эти верные союзники в борьбе за самостийность, не стеснялись уже обменивать между собой пленных украинских девушек и женщин прямо под окнами гетманского дома. Растерзанная междоусобицами Украина являла собой одну сплошную руину. Позднее украинские историки так и назовут этот смутный период — «руиной».

А вот выход из смуты и конец последнего цикла. Украинские города просят московское правительство ввести в них войска. Москва, ссылаясь на прошлые «воровство и измены», отказывается. Тогда малороссийские мещане просят царя править ими «по всей его государевой воле» так же, как и всеми прочими городами царства. Иными словами, «статьи» Переяславской рады, гарантирующие самоуправление в границах Магдебургского права для украинских городов, перечеркиваются самими украинцами. На этих условиях, то есть на условиях *безусловного* подчинения, царская Россия возвращается на Украину. Теперь ей уже никакой Мазепа не будет страшен: ни мещанство, ни казачество за ним не пойдут. Он станет прежде всего врагом самого украинского народа (9).

Укажем еще раз: в отличие от империй Запада Российская империя в большей своей части возникла не как результат завоевания. Ну а в меньшей? Пусть в порядке самообороны, но Россия разрушила силой татарские ханства, образовавшиеся из обломков Золотой Орды. Были потом и война против кавказских горцев, и присоединение, мирное и немирное, Средней Азии. Конечно, все это носило характер завоеваний. Но даже в этой, меньшей, части Россия не слишком походила на западные державы, колониальная экспансия которых носила характер крестового похода под знаменем христианской морали и представляла собой не более и не менее как вытеснение местного этнического элемента пришлым, то есть, говоря проще и точнее, была геноцидом.

Не требовалось Клермонского собора ради организации «маленьких крестовых походов», которые велись повсеместно как бы сами собой. В. И. Ленин дал им поистине клеймящую характеристику:

«...Возьмите историю тех маленьких войн, которые они (империалистические государства. — *Ф. Н.*) вели перед большой, — «маленьких» потому, что европейцев в них гибло немного, но гибли зато сотни тысяч тех народов, которых душили, которые с их точки зрения даже народами не считаются (какие-то азиаты, африканцы — разве это народы?); с этими народами вели войны такого сорта: они были безоружны, а их расстреливали из пулеметов. Разве это войны? Это ведь, собственно, даже не войны, это можно забыть. Вот как подходят они к этому сплошному обману народных масс» (10).

При всей жестокости классовой политики царского самодержавия по отношению к так называемым «инородческим народам» она в отличие от колониальной политики Запада не вела к физическому уничтожению местного населения. Герцен, одним из первых подметивший особенность развития России вширь, так писал, сравнивая методы российской и американской колонизации: «Но Россия расширяется по другому закону, чем Америка; оттого, что она не колония, не наплыв, не нашествие, а самобытный мир, идущий во все стороны, но крепко сидящий на собственной земле. Соединенные Штаты, как лавина, оторвавшаяся от своей горы, прут перед собой все; каждый шаг, приобретенный ими, — шаг, потерянный индейцами. Россия... как вода, обходит племена

со всех сторон, потом накрывает их однообразным льдом самодержавия...» (11)

В подтверждение мысли Герцена приведем описание взаимоотношений между коренным сибирским и пришлым русским населением в труде современного советского историка А. А. Преображенского:

«Существование их (народов Сибири) с поселениями русских трудовых людей, увеличение общей численности нерусского населения за это время (исследование охватывает период с конца XVI до XVIII века включительно. — *Ф. Н.*) — факты, донные никем не опровергнутые. Одно этого достаточно для того, чтобы сделать вывод о неантагонистичности встретившихся на восточных окраинах социальных отношений русского и местного населения. Автор далек от мысли представлять эти отношения в идиллическом свете, лишенными внутренних противоречий и внешних их проявлений, не всегда бескровных и мирных. Можно было бы привести в дополнение к известным немало новых фактов, свидетельствующих о захватах ясачных угодий русскими новопоселенцами, о жалобах местных жителей на сокращение возможностей охотничье-промыслового хозяйства в связи с этим. Такое хозяйство, как известно, требовало во много раз больших площадей, чем земледельческое. Но малочисленность и разбросанность аборигенов на огромных, крайне слабо заселенных пространствах сводила до минимума всевозможные коллизии на хозяйственной почве. Не думаем, чтобы приукрашивали действительность крестьяне Краснопольской слободы в одной из своих челобитных, когда писали, что после поселения окрестные выгуличи «на озера и на истоки рыбу ловить пускали и в лесе тетерь ловить пускали же, спон и запрену с ними не бывало, жили в совете». В середине XVIII века коренные жители южных районов Енисейского края, по словам русских переселенцев-крестьян, «не спорят, дают селиться спокоем». Острота противоречий притуплялась и другими обстоятельствами, содействовавшими развитию скорее центростремительных, нежели центробежных сил даже в той исторической обстановке.

Многоукладность экономического быта пришлого русского населения, преимущественно крестьянский характер колонизации, в общем и целом довольно последовательно проводимая царским правительством охранительная политика по отношению к ясачным людям — эти и другие факторы облегчали совместную жизнь русского и нерусского народов в рамках единой государственности.

...Проводя политику угнетения народов Урала и Западной Сибири на почве главным образом ясачных поборов, Российское государство вместе с тем осуществляло меры, которые не отталкивали бы местные народы от «государственной милости». В литературе очень хорошо знакома формула царских грамот и наказов действовать, имея дело с ясачными людьми, «лаской, а не жесточью». Запрещая аборигенам и русским торговать в ясачных волостях до внесения ясака, правительство, с другой стороны, освобождало нерусских жителей от уплаты наиболее обременительных таможенных пошлин при торговых операциях» (12).

Сопоставив некоторые факты. Ко времени появления англичан в Северной Америке насчитывалось 2 миллиона индейцев, к началу XX века их осталось не более 200 тысяч (13). В русской Сибири писцовые книги в тот же самый период указывают на неуклонный рост ясачного, то есть коренного, населения (14). Демократически избранные законодательные собрания колоний Новой Англии назначают цену за каждый доставленный индейский скальп от 50 до 100 ф. ст. — плата варьировала в зависимости от того, снят ли скальп с взрослого мужчины-воина, или с женщины, или с ребенка (15). Между тем «варварское и тираническое» московское правительство проводит охранительную политику по отношению к нерусским сибирским народам. К примеру, царский указ от 1598 года запрещает местным русским властям брать у тюменских татар подводы для гонцов, освобождает от ясака татар и вотяков бедных, старых, больных и увечных, предписывает зачислять в стрельцы крестившихся ясачных людей, что также влекло за собой освобождение от ясака (16).

Русское государство, постоянно страдающее от недостатка как рабочих рук, так и рук, умеющих владеть мечом и копьём, стремится не вытеснить, а, напротив, поставить себе на службу людские ресурсы побежденного противника. Потому-то Россия, отстаивая свое существование, никогда не вела войн на истребление. Она предпочитала превращать бывших врагов в своих верных слуг.

Великий литовский князь Ольгерд трижды пытался копьём добыть Московский Кремль, а его сыновья уже служат Москве, да как служат! Ольгердовичи во главе своих литовско-русских дружин покрыли себя славой на Куликовом поле. Летопись с похвалой отзывается и о храбрости бывшего татарского мурзы Мелика, командовавшего в той же битве русским Сторожевым полком (17).

Создание многонациональной державы, сочетающей в себе народы различных культур, верований и традиций, предполагает наличие потребности в этом с той и другой стороны. Москва, получив ярлык на великое княжение, потому преуспела в своей объединительной миссии, что умела поставить общерусский интерес выше своего местного: московское боярство без сопротивления уступает ближайшее к трону место потомкам удельных князей; московские дети, боярские и дворяне, покорно покидают свои подмосковные поместья, расселяясь по царскому указу под Новгородом Великим, Новгородом Нижним, Псковом, Рязанью, Тверью, Смоленском, чтобы на равных основаниях с местными помещиками нести службу «головой и копьём». Избранная «тысяча» московского дворянства, своего рода царский гвардейский корпус, «испомещенный» вокруг столицы, на деле состояла из выходцев из всех русских земель. Нет ничего удивительного в том, что правительство многонациональной Российской державы исходит в дальнейшем в своей внутренней политике не из узкорусских, а из общегосударственных интересов.

Вот несколько характерных примеров. В середине XV века русские поселенцы в Вятке вместе с князьями из коренного населения грабят московских купцов, чем наносят ущерб государевой казне. В 1489 году царское войско учинило разгром Вятке, весь полон был приведен в Москву. Иван III русских вожakov разбойничьих шаек велел повесить, прочих русских вместе с женами и детьми расселить по другим городам и селам, а местных князей с их разоруженными дружинами «пожаловал», отпустив на родину с миром. В указе князю Хованскому,

посаженному воеводой в Новгород Великий в XVII веке, в частности, говорилось о том, чтобы «в осадное время чухнов, латышей и порубежных русских крестьян в город (крепость) не пускать, держать их на посаде во рвах, а жен их и детей пускать в город». Другими словами: никаких различий по национальному признаку не делалось.

В ходе объединения русских земель Москва усиливается сама и обессиливает своих соперников, великих князей тверских, рязанских и нижегородских, стягивая отовсюду к себе на службу основную боевую силу того времени — боярство. Ту же самую политику проводит Московия и по отношению к своим нерусским противникам, оттого родовые русские боярства производили на Ключевского впечатление «этнографического музея»: «Вся русская равнина со своими окраинами была представлена этим боярством во всей полноте и пестроте своего разноплеменного состава, со всеми своими русскими, немецкими, греческими, литовскими, даже татарскими и финскими элементами» (18). Здесь, очевидно, вопрос об этнической «чистоте» и сравнительном «благородстве» или «низости» национальных элементов никогда не поднимался. Напротив, Иван Грозный с гордостью писал шведскому королю: «Наши бояре и наместники известных прирожденных великих государей дети и внучата, а иные ордынских царей дети, а иные польской короны и великого княжества литовского братья, а иные великих княжеств тверского, рязанского и суздальского и иных великих государств прироженцы и внучата, а не простые люди» (19).

Литовские Гедиминовичи мечтали стать господами всей русской земли — они ими стали, превратившись в русских князей Патрикеевых, Голицыных, Куракиных и других, которые в московской иерархии заняли место лишь ступенькой ниже Рюриковичей. И они повели русскую рать на Вильно. Ливонский крестоносный орден видел смысл своего существования в борьбе против неверных и в натиске на Восток; в этом смысле Иван Грозный предоставил ему столь широкое поле действий, о котором самые смелые и честолюбивые магистры не смели и мечтать. Царь поселил пленных рыцарей вдоль Оки, чтобы они с мечом в руке стояли против татарских орд, защищая границы Московского государства, а заодно и европейскую христианскую цивилизацию. Под московским кнутом рыцари очень скоро возродили свою утраченную было ими воинскую доблесть, и Грозный пожаловал многих из них за исправную службу, испоместив под столицей и включив в отборную «тысячу» московского дворянства. Других «дранг нах Остен» увлек еще дальше. В отряде воеводы Воейкова, которому пришлось после гибели Ермака добивать хана Кучума, русские стрельцы и казаки составляли лишь ядро; большая часть была из служилых татар, пленных литовцев, поляков и немцев. Далек в Сибирь от стен Ревеля и Риги занесло свой крест крестоносное воинство. Но и обратно, то есть с Востока на Запад, под знаменем Москвы шли вольные дети степей. Касимовские, ногайские и казанские татары вторгаются во владения Ордена и доходят до Балтийского моря. Итак, все действуют в соответствии со своими природными наклонностями, унаследованными от предков стремлениями, заветными желаниями.

Кстати сказать, после завершения Ливонской войны пленные немцы, поляки, литовцы, латыши, эстонцы получили возможность вернуться на родину. Эмиссары польского короля разыскивали их по всем русским городам и весям, следя за тем, чтобы не чинилось никаких препятствий к их репатриации, однако лишь меньшая их часть пожелала уехать. После Северной войны порядком обрусевшие в плену солдаты и офицеры Карла XII отказываются возвратиться в Швецию. После войны 1812—1813 годов та же картина: пленные французы в большей своей части остаются в России навсегда.

Даже верность исламу не препятствовала достижению высокого служебного положения в Московском государстве. Иван III, отправляясь в поход на Новгород, оставляет управлять землей и стеречь Москву татарского царевича Муртазу — имя показывает ясно, что его владелец остался мусульманином.

Коренному населению Казанского ханства не грозило насильственное обращение его в христианство после падения Казани. Первому архиепископу, отбывающему в недавно завоеванный город, в Кремле даются совершенно четкие указания: «страхом к крещению отнюдь не проводить, а проводить только лаской» (20). Москва, очевидно, была гораздо больше заинтересована в том, чтобы сабли казанских татар, хотя бы и мусульманские, были на ее стороне, нежели в православной «чистоте» города.

В следующем, XVII веке послы Алексея Михайловича разясняют в Варшаве: «...Которые у великого государя подданные римской, люторской, кальвинской, калмыцкой и других вер служат верно, тем никакой тесноты в вере не делается, за верную службу жалует их великий государь» (21). Европейцы, к этому времени уже получившие от Генриха IV и Ришелье первые уроки веротерпимости, одобряли подобный подход московского правительства к «римской, люторской и кальвинской» верам, но не к «калмыцкой» и не к «татарской». Яков Рейтенфельс, проживший в Москве с 1671 по 1673 год, с явным отвращением пишет о том, что там «татары со своими омерзительными обрядами... свободно отправляют свое богослужение» (22). В XVIII веке Петр I в воинском уставе наставляет своих генералов, офицеров и солдат: «Каковой ни есть веры или народа они суть, между собой христианскую любовь иметь» (23).

Тот же узел, что связал воедино все русские земли, стал завязью и для более широкого, многонационального Российского государства. Лорд Керзон, предпринявший в качестве специалиста по колониальным вопросам дальнее путешествие по среднеазиатским владениям России вскоре после присоединения к ней Бухары, Хивы и Коканда, на основании личных впечатлений писал: «Россия бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой... Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, который в большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость. Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами. Его непобедимая беззаботность делает для него легкой позицией невмешательства в чужие дела; и терпимость, с которой он смотрит на религиозные обряды, общественные обычаи и местные предрассудки своих азиатских собратьев, в меньшей степени итог дипломатического расчета, нежели плод врожденной беспечности. Замечательная черта русификации, проводимой в Средней Азии, состоит в том

применении, которое находит завоеватель для своих бывших противников на поле боя. Я вспоминаю церемонию встречи царя в Баку, на которой присутствовали четыре хана из Мерва... в русской военной форме. Это всего лишь случайная иллюстрация последовательно проводимой Россией линии, которая сама является лишь ответвлением от теории «объятий и поцелуев после хорошей трепки» генерала Скобелева. Ханы были посланы в Петербург, чтобы их поразить и восхитить, и покрыты орденами и медалями, чтобы удовлетворить их тщеславие. По возвращении их восстановили на прежних местах, даже расширив старые полномочия... Англичане никогда не были способны так использовать своих недавних врагов» (24).

Не так уж трудно вскрыть исторические корни такого различия. Вспомним, что Московское царство было неправовым государством, требовавшим от своих подданных военной службы и тягла, но не предоставлявшим им взамен прав. Но там, где не было прав, не могло быть и неравенства в правах. Русское бесправное население не могло смотреть свысока на новых, нерусских, подданных; в условиях непрекращавшейся борьбы на два-три фронта всякий, встающий в строй или впрягающийся в общее тягло, быстро становился товарищем. Встающий в строй сливался с правящим классом, трудовые же массы разных народов также постепенно сближались и смешивались друг с другом. Россия росла сплочением народов, причем собственно русский элемент с природной пластичностью играл роль цемента, соединяющего самые разнообразные этнические компоненты в политическую общность. Мозаичная российская империя обладала перед лицом внешних угроз твердостью монолита.

На совсем иных основаниях строились многонациональные империи Запада. Отношения между английскими, французскими, голландскими и т. д. плантаторами и их работниками, отношения между остзейскими баронами и эстонскими и латышскими крестьянами, между польской шляхтой и ее белорусскими, украинскими и литовскими холопами, между французскими колонистами и алжирскими феллахами, между израильянами и палестинцами, между английскими поселенцами и коренным населением Ирландии и т. д. — все это не более чем вариации на одну и ту же тему отношений между победителями и побежденными, между народом господ и народом рабов. Великолепным символом такого рода межнациональных отношений служат ежегодные демонстрации оранжистов в Ольстере.

В 1690 году англичане под предводительством Вильгельма Оранского нанесли поражение ирландским католикам, и с тех пор каждый год в день битвы проходят они сплоченными колоннами по улицам североирландских городов, демонстрируя свою силу, волю к господству, бросая свое ликование и презрение в лицо сыновей, внуков, правнуков, праправнуков побежденных. И так везде, где в области отношений между народами торжествуют принципы западной цивилизации. Друг против друга стоят народы господствующие, ревниво цепляющиеся за малейшие привилегии, которыми отделяют себя от людей «низшего сорта», и народы побежденные, подавленные, унижаемые ежедневно, ежечасно, но сжимающие кулаки и ждущие своего часа, чтобы свести счеты.

Почти хрестоматийным считается утверждение, что угнетенная нация стремится сбросить с себя зависимость при первом удобном случае. Так, ирландцы всегда смотрели на любого противника Англии как на своего естественного союзника и оказывали посильную помощь всякой антибританской борьбе, следуя правилу: «Враг моего врага — мой друг». Исходя из этой общепризнанной истины, легковверный историк, приступающий, например, к изучению Смуты в Русском государстве, должен априорно заключить, что Казань, еще хорошо помнившая свою самостоятельность и вековую вражду с Москвой, постаралась воспользоваться тем обстоятельством, что Московское государство переживало глубочайший кризис. Но вот он углубляется в первоисточники и обнаруживает документ, гласящий:

«Митрополит, мы и всякие люди Казанского государства согласились с Нижним Новгородом и со всеми городами поволжскими, с горными и луговыми (то есть по обоим берегам Волги. — *Ф. Н.*), с горными и луговыми татарами и луговой черемисой на том, что нам быть всем в совете и соединении, за Московское и Казанское государство стоять».

Казанский митрополит, глава русского национального меньшинства, обращается к татарам и марийцам с призывом освободить Москву от поляков — и они, мусульмане и язычники, толпами вливаются в ополчение Минина и Пожарского.

В 1812 году татарская, башкирская и калмыцкая конница снова идет на помощь Москве. Что-то не видно здесь того непримиримого антагонизма, который бросается в глаза на любой из страниц многовековой истории англо-ирландских отношений.

Россия никогда не была матерью-родиной только для русских, а для остальных народов злою мачехой. Еще задолго до присоединения Армении к Российской империи армяне чувствовали себя в Астрахани, Москве, Петербурге так же дома, как и на родных склонах Арарата. Князь Багратион, рассорившись с Барклаем де Толли, просит военного министра: «Ради бога пошлите меня куда угодно... Вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно и толку никакого нет» (25). В следующем письме, озлобленный сдачей Смоленска, он восклицает:

«Скажите, ради бога, что наша Россия — мать наша — скажет, что так страшимся, и за что такое доброе и усердное отечество отдаем сволочам?... Чего трусить и кого бояться?» (26).

Гордый потомок грузинских царей не отделял любви к родной Грузии от верности к общему отечеству всех россиян. Он не старался быть русским. Он им действительно был без всяких усилий со своей стороны, поскольку могучее чувство, объединявшее русский народ, владело и им. И то, что он был русским, нисколько не мешало ему оставаться грузином полностью — не было противоречия между тем и другим.

Великий русский писатель Н. В. Гоголь, отвечая на вопрос, кем он себя считает, украинцем или русским, пишет своей приятельнице:

«Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены богом, и как нарочно каждая порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую» (27).

А. И. Куприн, по свидетельству Бунина, больше всего гордился тремя вещами: во-первых, тем, что был русским офицером, во-вторых, тем, что приходился внуком татарскому хану; только на третье место он ставил свою литературную известность (28).

Нам, советским людям, чувствующим себя единым народом, несмотря на различие национальной принадлежности, связанным узами верности к единой великой Родине, не кажется особенно странным, что нечто схожее с этим чувством и с этим понятием долга обнаруживаем и в прошлом. Нам не кажется странным, что Куприн мог чувствовать себя одновременно татариним и русским, Гоголь — украинцем и русским, Багратион — грузиним и русским и т. д. Не нужно упускать из виду, однако, что этот великий процесс межнационального синтеза, начавшийся в глубине веков, всегда представлялся буржуазному западному сознанию как нечто противоестественное, отталкивающее и непонятное. Ведь жителю насильственно германизуемой Богемии невозможно было чувствовать себя одновременно и чехом и немцем — приходилось выбирать. Для ольстерцев красивое слово «британец» начисто лишено смысла, ибо в условиях длящейся веками сегрегации, в атмосфере ненависти, царящей в отношениях между двумя общинами, можно быть либо англичанином и протестантом, либо ирландцем и католиком. Даже в двуязычном, немецком по крови и французском по культуре, Эльзасе, где Франция никогда не проводила политики ни насильственной ассимиляции, ни искусственной сегрегации, даже там быть немцем значило не быть французом и наоборот. О взаимоотношениях между несчастными «цивилизуемыми» азиатами, африканцами, краснокожими американцами, австралийскими аборигенами и «матерью-родиной» их колонизаторов говорить не приходится.

Исторически и политически было бы неправильно отрицать или затушевывать национальный гнет в царской России: было деспотическое русское самодержавие, была безответственная в своих действиях русская по преимуществу администрация, был дикий произвол русской полиции и жандармерии, был русский суд, всемирно известный своей продажностью и волокитой.

Однако положение русских в российской «тюрьме народов» отличалось от положения англичан в Британской империи, немцев в империи Габсбургов, японцев в империи Восходящего Солнца и т. д. В России бесправие не было уделом только «инородцев». Крепостное право являлось «привилегией» русских, украинцев и белорусов, то есть «природных русских», с правительственной точки зрения. Рекрутчина всей тяжестью ложилась на тех же «природных русских» и лишь в годы чрезвычайных наборов распространялась также на народы Поволжья (29). Русский народ в «тюрьме народов» был не тюремщиком, но заключенным.

В любой многонациональной империи Запада даже низший социальный строй господствующей нации имеет ряд привилегий по отношению к подчиненному народу в целом. Последний клерк Ост-Индской компании чувствовал свое превосходство перед сиятельным махараджей; беднейший из французских колонистов в Алжире был бы до глубины души оскорблен, если бы его назвала феллахом, немецкий рабочий в Австро-Венгрии, интернационалист в теории, все же голосовал против приема чешских, польских, хорватских пролетариев в его, немецкий, профсоюз, в его, немецкую, социал-демократическую партию. Националистические предрассудки, активно насаждаемые идеологами империализма, проникли во все сферы социальной и политической жизни европейских государств.

Моральные нормы, обязательные в отношениях между членами господствующей общины, теряют всякую силу при их сношениях с представителями низшей общины. Р. Киплинг отмечает, что нравственные запреты, действующие в метрополии, сами собой отпадают к востоку от Суэца. В своей «Истории английской революции» Гизо описывает, с каким напряженным вниманием и сочувственным интересом все английское и шотландское общество следило за судебным процессом по делу маркиза Монтроза и его четырех сподвижников: обсуждались юридические тонкости судопроизводства, заботились о праве на защиту подсудимых, передавали последние слова, с которыми осужденные приняли смерть на эшафоте, и т. д. В то же самое время ирландцев, таких же сторонников Стюартов, как и Монтроз, без всякого суда и следствия, едва они попадали в плен, десятками связывали и топили в море, сотнями расстреливали, вешали, рубили головы. На эти массовые казни никто в английском обществе не обращал внимания. Говорить о них было просто неприлично.

Непреодолимая пропасть между нациями господствующей и подчиненной, замкнутость каждой из них в самой себе исключают классовую солидарность между эксплуатируемыми классами обеих наций. Алжирская коммуна, провозглашенная вслед за Парижской в 1871 году, не разделила ее славной и трагической судьбы; французские пролетарии и ремесленники города Алжира сложили оружие перед эмиссаром Версаля, когда он разъяснил им, какой опасности подвергают они свое национальное господство над мусульманами (30). Габсбурги без труда давили непокорные Милан и Венецию копытами венгерской конницы, заливали пожар восстания в Вене славянской кровью, царили в чешской Праге, опираясь на немецкое меньшинство, — и немецкие горожане и крестьяне не шли на объединение со своими иноплеменными братьями по классу для общей борьбы против феодального деспотизма.

Вот такой гнусности российская история никогда не знала. Русский народ никогда не чувствовал себя господином других народов, никогда не придерживался двойной морали, никогда не стремился отгородиться от иноплеменников. И судьба его была неотделима от них.

При Екатерине I обер-прокурор Ягужинский докладывал Сенату, что русские крепостные (заметим для себя —

представители господствующей нации) не то что дворами, а целыми деревнями снимаются с места, «бегут... в Башкирию, чему и заставы не помогают» (31) Многие из них спускаются к Каспию, усиливая собою непокорную казацкую гольтьбу, занимаются промыслами беспошлинно, чем наносят ущерб государственной казне, якшаются с соседними калмыцкими ордами и без соизволения православной церкви берут у них девок в жены.

Правителей России обрядовая сторона бракосочетания их бывших крепостных, возможно, волнует меньше всего, но то, что из некоторых помещичьих имений крестьяне сбегают все без остатка (32), то, что вскоре не с кого будет брать ни рекрутов, ни податей, не позволяет сохранять олимпийское спокойствие. Выход один — «прижать башкир» к построенному за их спиной Оренбургу. Башкир прижали, калмыков прижали, яицких казаков прижали, беглых крестьян прижали. Сжимали горючую смесь до тех пор, пока в далеких Оренбургских степях не пробежала искра и не грянул взрыв такой силы, что дрогнул императорский трон в Зимнем дворце на берегах Невы. Вокруг русского ядра Пугачева сплотились и башкиры, и калмыки, и татары, и чувашаи, и мари, и мордва. Ничего подобного ни в самой Европе, ни в ее колониях никогда не было, но в России такое случалось и прежде, произойдет и позднее — в годы великой революции и гражданской войны.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВЕРНОСТЬ ИСТОРИИ



Подводя итог сказанному, повторим основные выводы нашего небольшого экскурса в отечественную историю. Находясь на рубежах кочевой степи, «дикого поля», Древняя Русь, во всем прочем сходная с остальными

европейскими странами, отличалась от них главным образом лишь более высоким давлением со стороны своих южных и юго-восточных границ.

Если франкская империя Каролингов при Пуатье положила предел распространению *последней* волны арабских завоеваний, если немецкие рыцари Священной Римской империи без особого напряжения сил остановили венгерскую кочевую экспансию в Центральной Европе, этот *последний* всплеск великого переселения народов, то Киевская Русь, вставшая плотинкой на пути грозного миграционного потока из глубин Азии, вынуждена была на протяжении всех пяти веков своего существования практически непрерывно отражать все новые и новые орды кочевников — хазар, печенегов, торков, берендеев, черных клобуков, половцев, татаро-монголов. Постепенно плотина эта размывалась идущими одна за другой волнами степняков и в конце концов рухнула под таранным ударом полчищ Батыя.

Великороссия, чье этническое ядро сложилось в Окско-Волжском междуречье в результате оттеснения туда славянского населения из Приднепровья, должна была вести борьбу не на жизнь, а на смерть в несравненно более тяжелых условиях, чем первое Русское государство.

По всем статьям военно-экономического потенциала она уступала *каждому* из своих главных противников — как Золотой Орде, так и Великому княжеству Литовскому (а помимо них и одновременно с ними приходилось иметь дело со шведами и немецко-датским орденом крестоносцев). Ответ, предложенный Москвой на этот исторический вызов и принятый Великороссией как единственно возможный, состоял в создании сверхпрочной государственной организации, способной не только выдержать сверхвысокое давление извне, но и преодолеть его. Были устранены все правовые ограничения на пути сосредоточения в руках государства материальных, трудовых и боевых ресурсов общества.

Русское общество, схожее по своей структуре с любым западноевропейским, отличалось от него тем, что между российскими сословиями распределялись только повинности, обязанности, но не права по отношению к верховной власти. Этот строй, известный в истории под именем русского самодержавия, был призван устранить татарскую опасность, воссоединить в границах Российской державы большую часть древнерусских земель, а также решить третью жизненно важную задачу — расчистить пути к берегам Балтийского моря.

Своеобразие московского государственного устройства не могло не наложить глубокого отпечатка на психический склад русского народа. Особенностью русского патриотизма стала безусловная и безграничная преданность своему государству, готовность при всяком столкновении его с внешней опасностью отдать ему столько богатств, труда и крови, сколько необходимо для ее отражения. Дело не только в том, что Московский Кремль властно, по своей воле налагал на все сословия тяжелое бремя государева тягла или государевой службы. Не менее важно и другое — то, что русский народ в основной массе своей принимал и долго нес это бремя как нечто неизбежное и необходимое. Государственный интерес здесь как бы доминировал над интересами сословными, местными, семейными и личными.

Характерной чертой Российской державы, делавшей ее исключением из общего правила многонациональных империй, было отсутствие у построившего ее народа комплекса «народа-господина» по отношению к иноплеменникам. Этому способствовало, во-первых, сознательное интегрирование русским царизмом феодальной знати различных народов в рамках политически единого правящего класса. И, во-вторых, как неизбежное, стихийное и даже нежелательное, с точки зрения «верхов», следствие такой политики — постепенное сближение и смешивание многонациональных трудовых «низов», протекавшее в ходе мирной колонизации русским крестьянством не освоенных ранее земель.

Теперь взяв в качестве отправной точки полученные выше результаты, мы перейдем к рассмотрению последней нашей задачи: попытаемся выяснить, какие черты российского освободительного движения повторялись в течение жизни трех поколений революционеров и запечатлелись в нашей великой революции, какова связь между традициями многовековой классово-народной борьбы угнетенных масс и российским революционным движением.

Приступая к этой теме, обратимся, прежде всего, к одному сложному историческому вопросу, по поводу которого до сих пор ломают копья историки — к вопросу отношения русского народа к самодержавию.



САМОДЕРЖАВИЕ И РУССКИЙ НАРОД



А. И. Герцен, отвечая западным публицистам, усматривавшим в империи Романовых чисто русский деспотизм, писал: «...Русское правительство — не русское, но вообще деспотическое и ретроградное. Как говорят славянофилы, оно скорее немецкое, чем русское, — это-то и объясняет расположение и любовь к нему других государств. Петербург — это новый Рим, Рим мирового рабства, столица абсолютизма; вот почему русский император братается с австрийским и помогает ему угнетать славян. Принцип его власти не национален, абсолютизм более космополитичен, чем революция» (1).

И по своему классовому содержанию, и по внешним политическим формам, и по методам управления, и по идеологии российское самодержавие XVII—XVIII веков совпадает в целом с западноевропейским абсолютизмом. В обоих случаях имели место временное равновесие и временный компромисс между классом феодалов, уже тесно связанным с рынком и вовлеченным в товарно-денежные отношения, и торговым капиталом, который после овладения внутренним, национальным, рынком стремился вырваться на внешний, используя для этой цели боевую силу полуфеодалного дворянства. В обоих случаях монархическая власть, балансируя на этих двух своих противостоящих опорах, приобретает видимость надклассовой силы и абсолютный (безусловный) характер — в этом последнем смысле передовой Запад пошел по пути, открытому ранее отсталой в прочих отношениях Россией. В обоих случаях абсолютная власть реализуется при помощи системы фиска, предусматривающего денежные, не натуральные подати, регулярной армии, бюрократии и полицейского аппарата.

Если это так, то в чем состоит действительное национальное отличие русского самодержавия от подобных ему государственных устройств на Западе?

Только в степени прочности. У русского самодержавия были гораздо более глубокие исторические корни. Как было отмечено выше, царизм имел характер безусловной власти уже тогда, когда он находился еще в стадии феодальной сословно-представительной монархии. Василий III, скажем, не уступал по размерам своей власти действительно абсолютным монархам в то самое время, как Россия далеко еще не созрела для абсолютизма: не было общенационального рынка, денежная рента только начала вытеснять натуральную, не могло быть поэтому ни регулярной армии, ни бюрократии, ни централизованного полицейского аппарата.

Однако это различие всего лишь в степени интенсивности и устойчивости одного и того же, по сути дела,

исторического явления само по себе существенно, и нужно поэтому представить его себе воочию на конкретных примерах.

Начнем с «верхов». На Западе с созданием регулярных армий военная служба стала скорее привилегией, нежели обязанностью «благородного сословия». Во Франции, самой сильной военной державе в Европе XVII века, офицерский корпус состоял почти полностью из представителей мелкого и среднего провинциального дворянства. Служба в армии хорошо оплачивалась, и офицерские должности в отличие от поместий приносили твердый доход — вот почему они стали предметом открытой купли и продажи. Право на отставку разумелось само собой. Должности полковников были распределены среди высокой французской аристократии, но эти номинальные полковники, переложив обязанности на подполковников из бедных кадровых офицеров, посещали свои полки лишь в исключительных случаях — именно тогда, когда французская армия двигалась в поход во главе с самим королем (2).

Россия по своему финансовому положению не могла позволить себе создать армию на той же экономической основе, что и Западная Европа, то есть формировать ее посредством свободной вербовки. Русская армия состояла не из наемников, а из рекрутов, срок службы которых был равен 25 годам. В петровскую эпоху офицер в отличие от солдата служил бессрочно. «В службе честь», — поучал царь, сам прошедший все ее ступени, начиная с солдатской. Даже старость, увечья, военные заслуги не давали оснований для исключений из общего правила: инвалидов и стариков с успехом использовали для обучения новобранцев и в гарнизонной службе (3). Победитель под Полтавой фельдмаршал Б. П. Шереметев, перешагнув порог семидесятилетия, несколько раз обращался к царю со слезной просьбой отпустить его на покой в его подмосковную вотчину, которая разоряется без хозяйственного присмотра. Петр не считал нужным даже ответить ни на одно из прошений фельдмаршала (4). Лишь смерть или полная дряхлость освобождали от службы государевой. Начиналась же она, как и издревле на Руси, с 15 лет.

В 1714 году в связи с большими потерями в офицерских кадрах традиционный порядок был изменен: было решено зачислять дворян в полки с 13-летнего возраста, чтобы скорее проходили они десятилетний срок солдатской службы и становились офицерами. Петр наотрез запретил производить в офицеры тех, «кто с фундаменту солдатского дела не знает» (5). В армейских полках помещикам солдатскую лямку приходилось тянуть вместе со своими бывшими крепостными. Гвардейские полки, Преображенский, Семеновский и позднее Конногвардейский, были первое время полностью дворянскими, но только самые знатные и богатые семьи могли зачислить туда своих сыновей.

«Дворянин-гвардеец, — отмечает В. О. Ключевский, — жил, как солдат, в полковой казарме, получал солдатский паек и исполнял все работы рядового. Державин в своих записках рассказывает, как он, сын дворянина и полковника, поступив рядовым в Преображенский полк, уже при Петре III, жил в казарме с рядовыми из простонародья и вместе с ними ходил на работы, чистил каналы, ставился на караулы, возил провиант и бегал на посылках у офицеров» (6).

Иностранцы отмечали «любовь царя Петра I к гвардии, которой он уже и не знает, как польстить» (7). Однако эта любовь совсем не приводила, как видим, к послаблениям по службе: гвардеец-дворянин получал установленный солдатский паек и выполнял все обязанности рядового. Если во время праздника в Летнем саду западного дипломата удивляла панибратская близость между императором и солдатами-преображенцами, то его изумлению вообще не было границ, когда, прогуливаясь на следующее утро по улицам строящегося Петербурга, он узнавал в гвардейце, старательно чистящем канал или, стоя по пояс в воде, забивающем сваю в дне Мойки, того самого князя Волконского или князя Гагарина, который еще вчера пил венгерское за столом самого государя. Петр говорил, что, не задумываясь, доверит жизнь любому преображенцу или семеновцу.

И Версаль, и Потсдам, и Зимний дворец были окружены щетиной штыков — в этом общая черта всякого абсолютизма. Но штык не равен штыку, и это неравенство следует не столько из качества стали, сколько из закала тех людей, что держат ружья наперевес. И чтобы понять, почему не Версаль, не Потсдам, не Вена, а именно Зимний дворец стал последним оплотом феодально-монархической реакции в Европе, полезно, помимо прочего, вникнуть и в исторический смысл отмеченного неравенства, которое с наибольшей яркостью проявилось, пожалуй, в Семилетнюю войну, когда крепостническая армия России столкнулась с такой же крепостнической армией Пруссии. Предоставим провести сравнение между ними историку XIX века К. В. Валишевскому, который как поляк испытывал в равной мере чувство, мягко говоря, антипатии ко всем участникам раздела Речи Посполитой.

«...Но в отличие от этих соперников, в особенности от прусского войска, пополнявшегося посредством набегов на Польшу и Саксонию и оказывавшего широкое гостеприимство дезертирам и всевозможного рода авантюристам, делавшим ее мундир «карлекинским нарядом»... эта (русская) армия была по существу своему национальной. Не было вербовки, почти не было добровольцев, в особенности в строю, а был лишь налог крови, распределенный на землевладельцев и уплачиваемый ими — крепостными, людьми. Данная система... создавала в общем материально мощное целое, нравственно весьма податливое, с железным телом, и терпеливой, смиренной и вместе с тем по своему гордой душой. Позади офицера, прогонявшего его сквозь строй за малейшую провинность, солдат видел священника, причащавшего его накануне сражения или приступа и обносившего по фронту армии среди пения псалмов и клубов фимиама хоругви, кресты и чудотворные иконы. Но поверх офицера и священника, страха и набожности, у него еще было нечто, что удерживало его в пределах его долга и заставляло его исполнять его и идти на смерть — то была мысль о России и любовь к ней... Смиранный мужик, оторванный от сохи, прекрасно понимал, чем был он, стоя под знаменем, и чем были под знаменами «лютого короля» — так звал он его в своих

песнях — «наемные, плененные войска» Фридриха... Он хранил в душе, вместе со смирением и верой, гордостью русского имени и культ своего царя. И это делало из этих крестьян грозных врагов, не умевших маневрировать, но против которых «лютый король» тщетно истощил все свое искусство» (8).

В августе 1758 года русская армия под командованием англичанина Фермора разбила свой лагерь рядом с деревней Цорндорф. Вся артиллерия была расположена на той его стороне, что выходила на реку Митцель и откуда ждали пруссаков. Русские батареи, заблаговременно сооруженные на высоком и обрывистом берегу, надежно господствовали над поймой.

Но Фридрих и не помышлял о том, чтобы форсировать реку под огнем русских. Совершив обходной маневр и не встретив на своем пути даже русских дозоров, он спокойно развернул свою армию в боевой порядок в совершенно незащищенном тылу русского лагеря и приказал своей артиллерии и пехоте открыть беглый огонь. «Ни одно ядро не пропадет у нас даром!» — весело воскликнул он.

Русский главнокомандующий Фермор после первых же прусских залпов понял, что все пропало; дал шпоры своему боевому коню и галопом покинул поле боя, бросив на ходу, что отправляется за помощью к корпусу Румянцева. Но не так думали солдаты и офицеры. Вместо того чтобы бросать оружие, размахивать белыми платками или прыгать с обрыва, они впрягаются в орудия, разворачивают их, перевозят на новые импровизированные огневые позиции. Эти варвары, как потом объясняли происшедшее свидетели-иностранцы, не знали различия между фронтом и тылом, не понимали, что их положение безвыходно, и считали фронтом просто-напросто то место, откуда атакует неприятель. Построившиеся было полки, едва придя в движение, напирают друг на друга, смешиваются, превращаются в бесформенную и сжатую человеческую массу, где действительно ни одно прусское ядро не пропадает даром. В одном из концов лагеря солдаты натываются на маркитантский склад, разбивают бочки с водкой и в несколько минут становятся пьяными тысячами. Фридрих, наблюдающий эту сцену сквозь подзорную трубу, бросает тогда на русский лагерь своих «черных гусар», чтобы довершить истребление противника.

Король был уверен в полной победе — впрочем, чем дальше, тем менее. «Фермор сдастся... он сдался... впрочем, я еще не уверен в этом», — посылал он депеши своему брату, герцогу Брауншвейгскому (9). К счастью для русских, в эти критические часы их командующий был слишком далеко, чтобы вести переговоры о капитуляции. Между тем сумятица в лагере вопреки ожиданиям Фридриха совсем не привела к панике. Никто там не думал о бегстве или о сдаче. Отборная прусская кавалерия была встречена плотным огнем, ружейным и пушечным. Атака следовала за атакой, но все они разбивались как волны об утес. «Сами пруссаки говорят, что им представилось такое зрелище, какого они еще не видывали, — рассказывает участник битвы при Цорндорфе русский офицер Болотов. — Они видели везде россиян малыыми и большими кучками и толпами, стоящих по расстрелянии всех патронов своих, как каменных, и обороняющихся до последней капли крови, и что им легче было их убивать, нежели обращаться в бегство. Многие, будучи простреленными насквозь, не переставали держаться на ногах и до тех пор драться, покуда могли их держать на себе ноги; иные, потеряв руку и ногу, лежали уже на земле, а не переставали еще другою здоровою рукою обороняться и вредить своим неприятелям...» Французский дворянин на прусской службе де Катт в записках «Мои разговоры с Фридрихом» свидетельствует о том же: «Русские полегли рядами; но когда их рубили саблями, они целовали ствол ружья и не выпускали его из рук». Сам Фридрих позднее вспоминал этот день: «Они (русские) неповоротливы, но они держатся стойко, тогда как мои негодяи на левом фланге бросили меня, побежав...» (10)

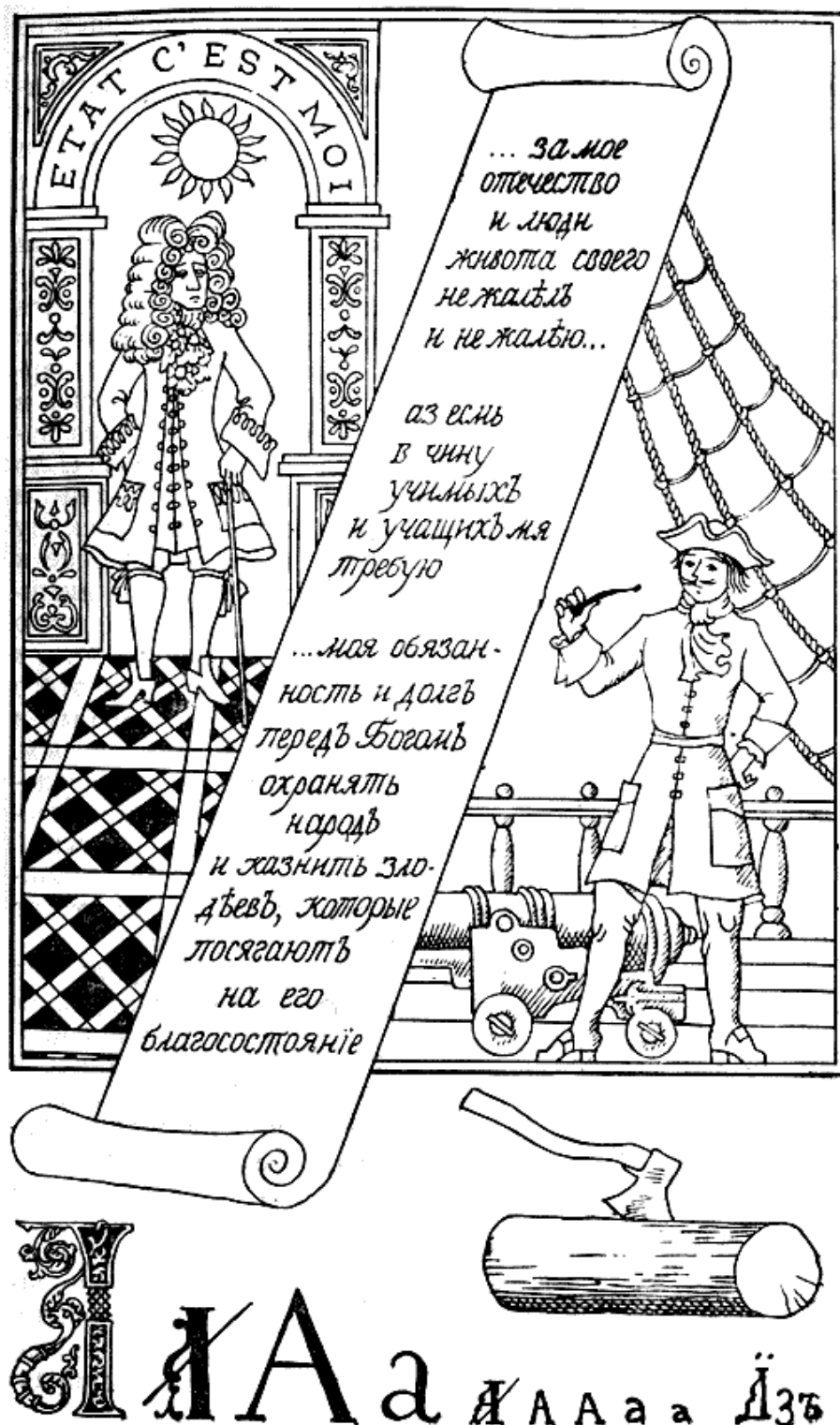
Здесь-то и сказалась разница в воинском воспитании. Прусская армия строилась на аксиоме своего короля: «Солдат должен больше бояться собственного офицера, чем противника» — и на соответствующих мерах внушения боевой доблести. Прусская пехота была хороша тогда и только тогда, когда маршировала под недреманным оком своих командиров. Фридрих понимал это и поэтому настоятельно рекомендовал своим генералам избегать переходов по лесным дорогам, если пехотную колонну, всегда готовую превратиться в толпу дезертиров, не «охраняют» гусары, и прямо запретил совершать ночные марши. Дисциплина в этой армии была жестокой, но дисциплина сама по себе может обеспечить лишь среднее усилие войска и не способна подвинуть его на «невозможное», превышающее норму. Русская же армия при Цорндорфе как раз совершила это «невозможное», ибо сражалась в условиях немислимых, не предусмотренных никакими уставами. Брошенная на произвол судьбы командующим, она все же под губительным огнем противника пытается перестроиться, что ей не удается сделать до генеральной атаки прусской кавалерии. Обычные узы дисциплины с нее в этот критический момент спадают, как спали бы, наверное, и с любой другой армии, но это не приводит к ее распаду, как это случилось со шведами при Полтаве и случится с пруссаками при Кунерсдорфе. Несмотря на то, что механизм субординации оказался парализованным и приводные ремни, идущие от верховного командования к рядовому солдату, безнадежно спутались, армия осталась армией. Офицеры в сумятице выпускают из-под контроля своих солдат, но отдают распоряжения первым попавшимся, и те выполняют их. Солдаты повинуются приказам незнакомых им офицеров не потому, что боятся дисциплинарных взысканий: теперь они ничего не боятся. А потому, что чувствуют к ним доверие, нуждаются в руководстве, в организации среди хаоса для того, чтобы лучше исполнить свой долг. Но вот противник отброшен (русские потеряли убитыми и ранеными 18 тысяч, пруссаки — 10 тысяч), и каждый спешит к знамени своего полка. Производится вечерняя перекличка, служится панихида — и вновь перед глазами Фридриха возникает стройная грозная боевая сила, непоколебимо стоящая на прежнем месте, как будто не было его, Фридриха, искусного маневра, не было сокрушительных залпов всей его артиллерии, не было стремительного удара его конницы и размеренно-методического натиска его пехоты. Он застал русских врасплох, он нанес им огромный урон, он сосредоточил свои силы так и ввел их в действие с такой

последовательностью, которая всегда вела к победе над любым из его неприятелей. Но победы не было. Когда русские вышли из своего лагеря и направились на соединение с корпусом Румянцева, пруссаки уклонились от нового столкновения и уступили дорогу...

«Государство — это Я», — говорил Людовик XIV, требуя от французского дворянства верности лично к себе как прямого продолжения преданности вассалов к своему сюзерену и не требуя от «низкой черни» (la canaille) ничего, кроме тупого повиновения и своевременной уплаты податей. Петр I накануне Полтавской битвы обращается не только к офицерам, но и к солдатам с совсем иными словами:

«Воины! Вот пришел час, который решит судьбу отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за Государство, Петру врученное... А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия...» (11)

Такого призыва другие европейские монархи не могли обратить к своим армиям, состоявшим из наемников, а подчас и из военнопленных.



Но императоры российские могли, ибо опирались они на мощную политическую традицию, восходящую еще к Московскому царству. Русский патриотизм отличался от всякого иного своей беспредельной и безусловной, то

есть не требующей ничего взамен, верностью государству. Если в Киевской Руси, как и в Западной Европе, в трудный час призывали ратников встать грудью на защиту своего домашнего очага, жен и детей своих, то Минин, напротив, предлагает «дворы продавать, жен и детей закладывать», чтоб только «помочь Московскому государству». Но из того, что одно и то же отношение к своему национальному государству перед лицом внешнего врага объединяло весь русский народ, от посадского человека Минина до князя Пожарского, от старостихи Василисы до фельдмаршала Кутузова и т. д., из этого факта совсем не следует, что русский патриотизм был и остается явлением неклассовым или надклассовым. Чудовищное давление извне, испытываемое действительно всем народом, давало возможность правящему классу феодалов в течение веков воспитывать русский народ в духе такой любви к отечеству, такой преданности государству и государю, которая вполне отвечала задаче поддержания его классового господства.

Российское самодержавие к тому же располагало таким послушным и мощным орудием морально-идеологического воздействия на массы, как православная церковь. Если католическое духовенство, организованное в рамках иерархической интернациональной структуры, оказывало идейную поддержку тому или иному католическому монарху в той мере, в какой его внешние цели соответствовали намерениям Ватикана, и постольку, поскольку он шел внутри страны навстречу пожеланиям «князей церкви», то для русского царя таких «поскольку — постольку» просто не существовало: после временного разрыва с Константинополем, связанного с Флорентийской унией 1439 года, русская православная церковь становится «автокефалической», то есть самоуправляемой в национальном масштабе, и полностью подчиняется авторитету царской власти.

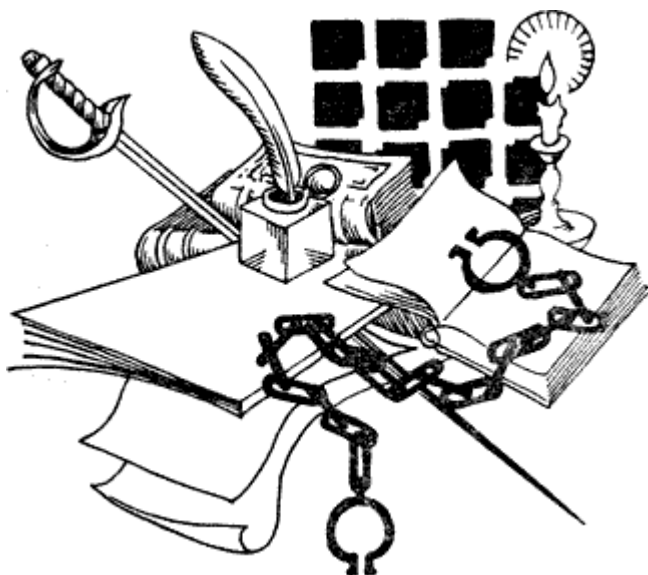
И это концентрированное и последовательное церковно-государственное идейное воздействие на сменяющиеся поколения русских людей приносило свои плоды. Не будем обманывать себя: своей поразительной стойкостью при Цорндорфе и во многих, многих других сражениях царская армия обязана не каким-то особенностям физических свойств своих солдат и офицеров (болезни косили их ничуть не меньше, чем в других армиях), но морально-политическому воспитанию, полученному ими как до призыва, так и уже под знаменами.

Вот картина русской деревни после объявления Крымской войны. В «Записках революционера» П. А. Кропоткин вспоминает: «...Мы постоянно слышали причитания крестьянок. Народ смотрел на войну как на божью кару и поэтому относился к ней с серьезностью, составлявшей резкий контраст с легкомыслием, которое я видел впоследствии в военное время в Западной Европе. Хотя я был очень молод, но и тогда понимал чувство торжественной покорности судьбе, которое господствовало в деревнях» (12). Русский народ невоинствен, он не любит воевать, будущие победы не приводят его заранее в восторг (слишком большой кровью платил он за прошлые), и весть о войне он встречает не ликованием, не огнем фейерверков и звоном литавр, а бабьим плачем по деревням. Но это военный народ: когда царь после поражений в Крыму издает манифест, призывающий добровольцев в ряды ополчения, крестьяне, хорошо помнившие 1812 год, огромными толпами собираются в городах, буквально осаждая призывные пункты.

Да, крестьянки причитали над своим сыном, братом, мужем: «На кого же ты нас покидаешь!», пока тот куражился в пьяном угаре. С ним прощались как с покойником заранее. И он прощался навек. Даже если доведется вернуться сюда после двадцати пяти лет солдатской службы, все здесь будет не то: он отвыкнет от крестьянского труда, и односельчане отвыкнут от него, родители умрут, и жена не будет ему верна. Подобно тому, как монах уходит из мира, порывая все кровные связи с ним, становился рекрут под знамя с двуглавым орлом. И он был горд этим знаменем, был горд тем, что на его долю выпала высокая честь послужить России, что он отныне не человек своего барина, а слуга Отечеству. Он просто не поймет своего «доброего» генерала, когда тот предложит ему участие в дворцовом перевороте в обмен на послабление по службе: он не наемник, он не торговался перед тем, как принести присягу, и он останется ей верен до конца. Ему нечего терять, ему не на что надеяться, и ему ничто не страшно — вот почему он встретит, не дрогнув, вражеские ядра, вот почему, простреленный и порубленный, он будет стоять, пока держат ноги, и, умирая, целовать ствол своего ружья. Самодержавие эксплуатировало чувство патриотизма, которое становилось страшной реакционной силой, пока оно служило царю.



ТРИ ПОКОЛЕНИЯ



«Глядя на Петербург, размышляя об ужасной жизни обитателей этого военного лагеря из гранита, можно усомниться в милосердии господ, можно жаловаться, можно богохульствовать, но невозможно скучать. Во всем этом есть некая непостижимая тайна и в то же время — какое-то чудесное величие. Деспотизм, так организованный, становится неисчерпаемым источником наблюдений и размышлений. Эта колоссальная империя, поднимающаяся на востоке Европы, той самой Европы, что страдает от оскудения всякой признанной власти, производит на меня впечатление выходца из загробного мира. Мне все кажется, что передо мной какой-то ветхозаветный народ, и я останавливаюсь с ужасом, смешанным с любопытством, у ног этого допотопного колосса» (1).

Так о николаевской России писал маркиз де Кюстин в 1839 году. А в 1901 году В. И. Ленин характеризовал российское самодержавие как «чисто военную, строго централистическую, руководимую до самых мелочей единой волей организацию русского правительства, нашего непосредственного врага в политической борьбе» (2). Перед собой русская революция имела сильного противника. Вот почему Карл Маркс говорил народовольцу Н. А. Морозову, что борьба русских революционеров с царизмом «представляется ему и всем европейцам чем-то совершенно сказочным, возможным только в фантастических романах» (3).

Де Кюстин, либеральный консерватор или консервативный либерал по политическим убеждениям, предвидит русскую революцию и боится ее: «Представьте себе республиканские страсти, ...клокочущие в безмолвии деспотизма. Это сочетание сулит миру страшное будущее. Россия — котел с кипящей водой, котел крепко закрытый, но поставленный на огонь, разгорающийся все сильнее и сильнее. Я боюсь взрыва. И не я один его боюсь» (4). Вождь российского и мирового пролетариата также видел диалектическую связь между взаимоисключающими противоположностями, на которые раскололась Россия, но в отличие от французского маркиза не имел, конечно, оснований опасаться «взрыва»: «Закон механики гласит, что действие равно противодействию. В истории разрушительная сила революции тоже в немалой степени зависит от того, насколько сильно и продолжительно было подавление стремления к свободе, насколько глубоко противоречие между допотопной «надстройкой» и живыми силами современной эпохи» (5). При всем различии эмоциональной окраски обе оценки перспектив русской революции по существу совпадают. Мучительно долго для трех поколений

русских революционеров разгоралось из искры пламя, но зато взрыв потряс весь мир.

В качестве отправной точки для анализа национального своеобразия русского революционного движения вплоть до 1917 года мы, естественно, примем классическую характеристику, данную этому движению В. И. Лениным:

«Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах» (6).

В России более века отделяет появление первого революционера А. Н. Радищева от первой революции; и до того, как она разразилась, два поколения революционеров легли костями за ее дело. Декабристы «страшно далеки от народа». Пропать продолжает отделять от народа и следующее поколение революционеров. Но вот что удивительно: сознание своей слабости под лапой «допотопного колосса» не парализует воли к борьбе у русских революционеров, не деморализует их, не заставляет большинство их искать компромисса с царизмом. Для декабристов, вышедших на Сенатскую площадь, было совершенно ясно, что с царем следует говорить лишь языком ультиматума, подкрепленного штыками.

И для психологии движения очень характерен отрывок из личного письма одного из его участников, В. С. Толстого. После поражения восстания, представ перед судом еще несовершеннолетним юношей, почти подростком, он, тем не менее, был присужден к каторжным работам. По возвращении из Сибири (по амнистии, объявленной Александром II) Толстой писал: «Лично сам, — чья жизнь была надломлена за участие в тайных обществах, открытых в 1825 году, — я по совести считаю императора Николая Павловича совершенно правым, так как в политической борьбе, в которой самодержец стоит за свою власть, естественно, невозможно щадить побежденного противника; но когда настанет время правдиво вписать в историю это царство, едва ли Россия снисходительно посмотрит на этот период своей летописи: от нее не скроется, что время Николая I есть источник всех бедствий следующего царствования, в котором окончилась несчастная и бедственная Крымская война...» (7)

Здесь от противника в политической борьбе пощады не ждали, но и сами давать ее не собирались. «Теперь уже дело идет не о том, чтобы критиковать английскую конституцию. Пестель прямо ставит членам общества следующий вопрос: «В случае успеха что делать с царской фамилией?» Предложено изгнание, тюрьма, ссылка. «Надо ее уничтожить!» — сказал Пестель, выслушав все это, «Как, — вскричали все, — это ужасно!» — «Я это отлично знаю». Друзья Пестеля заколебались; пустили на голоса. Большинство были за Пестеля...» (8). Если сам Максимилиан Робеспьер встречал 1789 год добрым роялистом и только постепенно, шаг за шагом, в ходе революции дошел до отрицания монархии, то Пестель начал с того, чем вождь якобинцев кончил. Известно, что для руководителя Южного общества образцом для подражания был Робеспьер девяносто третьего года.

Революционеры шестидесятых годов остаются верны традициям первого поколения. «Молодая Россия» провозглашала: «...О Романовых — с теми расчет другой. Своей кровью они заплатят за бедствия народа, за долгий деспотизм, за непонимание современных потребностей. Как очистительная жертва сложит голову весь дом Романовых. Мы изучали историю Запада, и это изучение не прошло для нас даром: мы будем последовательней не только жалких революционеров 48-го года, но и великих террористов 92-го года; мы не испугаемся, если увидим что для ниспровержения современного порядка Сходится пролить втрое больше крови, чем было пролито якобинцами в 90-х годах» (9).

Русский революционер прекрасно понимал, против какого врага он выступает, и, обнажая меч, знал, что его не придется возвращать в ножны. В России переговоры между абсолютизмом и революцией, временные соглашения, половинчатые решения были невозможны; обе стороны полностью сознавали это, выходя на смертный бой. Здесь борцы за свободу не боятся ненавистного для западных и русских либералов слова «диктатура», и революционные русские демократы не останавливаются даже перед тем, чтобы поднять руку на кумира западной демократии, на само всеобщее избирательное право. В том же воззвании «Молодая Россия» недвусмысленно разъяснялось: «Мы твердо убеждены, что революционная партия, которая станет во главе правительства, если только движение будет удачно, должна сохранить теперешнюю централизацию, без сомнения, политическую, а не административную, чтобы при помощи ее ввести другие основания экономического и общественного быта в наивозможно скорейшем времени. Она должна захватить диктатуру в свои руки и не останавливаться ни перед чем. Выборы в национальное собрание должны проходить под влиянием правительства, которое тотчас же позаботится, чтобы в состав его не вошли сторонники современного порядка, если только они останутся живы» (10).

На характер революционного движения, приведшего в конечном итоге к свержению абсолютизма, не могли не оказать влияния традиции предыдущей классовой борьбы вообще и борьбы крестьянства против феодальной эксплуатации в особенности. Но эти традиции в России отличались от западноевропейских.

Отличия сводились главным образом к одному коренному: на Западе классовая борьба велась в рамках правового государства, по необходимости принимала вид борьбы за сохранение, упрочение и расширение сословных прав. Но там, где классовый конфликт развертывается на правовой почве, остается широкое поле для компромисса между угнетателями и угнетенными, и великая задача уничтожения всякой эксплуатации

разменивается на частные вопросы правового ограничения и регулирования этой эксплуатации. Жакерия во Франции, движение Уота Тайлера в Англии, крестьянская война XVI века в Германии в основных чертах повторяют друг друга. Они начинаются как стихийный отпор крестьянства усилению феодального гнета: в той мере, в какой этот гнет выходит за рамки обычного права и выражается во введении новых поборов, повинностей, в ущемлении старинных вольностей. Наиболее радикально настроенная часть восставших требует, правда, покончить с угнетателями раз и навсегда, но эта часть всегда в меньшинстве, и умеренным всякий раз удается взять верх, когда напуганные феодалы проявляют готовность рассмотреть крестьянские жалобы и претензии. Завязываются переговоры. Господам удается ценой частных уступок разделить прежде единый лагерь повстанцев, обессилить его, обмануть своих противников «пряником»; «кнутом» — кровавые репрессии — завершит дело.

Русские крестьяне в отличие от своих западноевропейских собратьев по классу и так же, как и польские «хлопы», были бесправны. На Западе обязанности даже крепостных, не говоря уже о полузависимых крестьянах, по отношению к их господину были строго регламентированы и зафиксированы в соответствующих документах, так же как и их права. Русскому читателю странно, конечно, слышать о правах крепостных людей. Тем не менее в Англии, к примеру, они существовали. Так, еще в XIV веке, то есть до полного исчезновения крепостного права, английский помещик мог продать крепостного «с его выводком» (так в купчих той эпохи именовались крестьянские семьи), но неприкосновенность движимой собственности того же крепостного гарантировалась законом (П). Полузависимые крестьяне, живущие на помещичьих землях, имели на руках копии договора об аренде, где перечислялись их обязанности и права (оригинал хранился в барской усадьбе), — отсюда их название «копихольдеры» (12).

Ничего этого в России не было. Русский барин, как и польский пан, был высшим судьей над своими «людьми», и его приговор, если он только не был смертным приговором, обжалованию не подлежал. Феодальный произвол был, стало быть, полным, а гнет, несомненно, более тяжким, чем где-либо еще.

И еще одна важная историческая особенность отличала русское крестьянство от западноевропейского. На Западе крестьянское ополчение почти повсеместно (за исключением Испании да Скандинавских стран) перестало созываться уже к X—XI векам. Сменившее его рыцарство постаралось превратить военное дело в свою сословную монополию и отучить «грязную чернь» братья за оружие. На Руси народная рать (крестьянская по своему основному составу) решает судьбу сражений еще в конце XIV века. В XV веке она, правда, теряет свое значение главной боевой силы, оттесняется дворянской конницей на задний план, но отнюдь не вытесняется ею полностью. Крестьянская «посошная рать», набираемая из военнообязанных с «сохи», единицы обрабатываемой площади, продолжает сопровождать царские полки в каждом походе, принимает участие в осадах и идет на приступ крепостей еще в течение двух столетий.

Когда наступает эпоха наемных армий, в соседней Речи Посполитой «жолнерами» (солдатами) почти всегда были шляхтичи и никогда «хлопы». Стефан Баторий набрал было пехоту из польских крестьян со своих коренных земель, да столкнулся с яростным противодействием панов и шляхты и вынужден был довольствоваться наемниками из Германии и Венгрии. Россия была слишком бедна, чтобы содержать регулярное войско, и вот к какому средству она прибегает в XVII веке:

«На северо-западе, вблизи шведской границы, были устроены военные солдатские (пехотные) поселения; жили крестьяне на прежних своих участках, пашню пахали, угодыями владели, данных и оброчных денег не платили, но учились солдатскому делу у иноземцев. Сначала велено было их учить военной службе ежедневно, но в 1650 году государь велел их полагать, учить в неделю день или два, чтоб им от пашни и от промыслов не отбыть. На степной Украине были поселены, «устроены вечным житьем» драгуны, служба которых была конная и пешая... Подле этих служилых людей с новыми, иноземными названиями — солдат, рейтар, драгун — сохранились старые — городские казаки, которым в мирное время правительство давало двory и землю пахотную, не брало с них оброка и никаких податей, а во время службы давало им жалованье» (13).

Помимо всех этих служилых людей «по прибору» с их новыми или старыми названиями, помимо целого сословия *однородцев*, пахавших землю и в то же время с пицалью и саблей в руках отражавших набеги крымских татар (правительство вплоть до реформы 1861 года так и не уяснило для себя, считать ли их дворянами или крестьянами, принимая по этому предмету противоречивые решения), помимо широких слоев крестьянства, привлекаемых к делу народной обороны государством, само крестьянство против воли феодального государства стихийно создавало свою собственную боевую силу, именовавшую себя *вольным* (в отличие от служилого) *казачеством*.

Бесправие крестьянства и его военные привычки встречались и за пределами России, но порознь. Сочетание же этих двух феноменов составляет, по всей видимости, национальную историческую особенность. Не только характер русского крестьянства отразился в чертах русского солдата, но и, наоборот, солдатчина наложила свою печать на крестьянство. «Народ русский зело терпелив и послушан», — говаривал Петр I. Это терпение солдата и послушание воинской дисциплине в самом деле вошли в национальный характер. Но когда чаша терпения переполнялась, русский крестьянин проявлял в борьбе против внутреннего классового врага ту же самоотверженность, готовность идти до конца, не считаясь ни с какими жертвами, которые отличали русского солдата на полях битв с иноземцами. Крестьянские армии Болотникова и Разина, Булавина и Пугачева не посылали парламентаров к противнику, не заключали с ним перемирий, не вступали в переговоры относительно удовлетворения их требований. Да и о чем договариваться? Именно потому, что русский мужик слишком долго терпел и слишком многое выносил на своих плечах, ему не нужны были частные уступки. Он хотел всего: земли, воли и полной расплаты за перенесенные унижения.

Вот почему Болотников велит «боярским холопам побивати своих бояр и жен их» и брать себе «их вотчины и

поместья» (14) (под словом «бояре» здесь, очевидно, понимаются все феодалы, как вотчинники, так и помещики). Разинцы «черных людей наговаривали, чтоб дворян и детей боярских и в городах воевод и подьячих всех переводили и избивали» (15). Булавин опять зовет бить «всех бояр и прибыльщиков» (16). Пугачев приступает к поголовному истреблению дворянства.

Однако социальный радикализм крестьянских движений в России всякий раз сочетается с крайним политическим консерватизмом (вплоть до революции 1905 года, когда под идейным влиянием пролетариата русский мужик впервые преодолел в себе слепую веру в «батюшку-царя»). Болотников называет себя предтечей и посланцем царя Дмитрия Иоанновича, своим сторонником он сулит «боярство, воеводство и околичничество и дьячество» (17). В своих «прелестных грамотах» С. Разин призывает «всю чернь» «стоять... за великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича и за благоверных царевичев» и истреблять «изменников бояр» (18). «За его, великого государя, и за всю чернь» (19) — стало политическим лозунгом разинцев. Пугачев, окруженный свитой из псевдографов «Воронцовых» и «Чернышевых» с владимирскими и андреевскими лентами через плечо, требует перебить всех «изменников дворян» за то, что они собирались «извести» его, императора Петра III. Термин «изменники бояре» и «изменники дворяне» взят, очевидно, из лексики опричнины — недаром Грозный в народных песнях предстает не только как победитель Казани, но и как «справедливый царь», достойный пример для подражания.

Самозванство обычно в историографии трактуется как характерная черта русских *крестьянских* движений. Нам представляется более верным переставить логическое ударение на слово *русских* крестьянских движений. На Западе если в крестьянских войнах и появлялся иной раз самозванец, то крайне редко, и его «титул» в агитации существенной роли не играл. Но то, что там оказывалось исключением, здесь было правилом: ни одно крупное восстание угнетенных трудовых масс не обходилось без своего «царя» или, на худой конец, «царевича». Так, только на последнюю треть XVIII века приходится появление 23 самозванцев, не считая Пугачева (20). Там между повстанцами и охранителями феодального порядка всегда оставались достаточно широкие социальные слои, колеблющиеся между двумя лагерями, нейтральные, а то и просто равнодушные к не задевающей их непосредственно борьбе. Здесь повстанцы, требуя от всех и каждого присяги своему «законному государю», ставили вопрос ребром: «Кто не с нами, тот против нас!» Присяга «царю» предполагала и службу ему «помосковски», то есть безоговорочную и безусловную, а те, кто отказывался такую клятву дать, рассматривались, естественно, как «изменники». Поляризация классовых сил в стране происходила поэтому стремительно.

Причину такого различия нужно искать в том же источнике, что обусловил несравненно более высокую сплоченность вокруг трона российского боярства и дворянства по сравнению с западноевропейскими феодалами. Чтобы не повторяться, ограничимся одним конкретным сопоставлением.

Англичанин Флетчер, бывший в Москве в 1588—1589 годах при царе Федоре Иоанновиче, отмечал, что политика Ивана Грозного «так потрясла все государство и до того возбудила всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что это должно окончиться не иначе как гражданской войной» (21). Несчастной России было мало опричнины, ей нужна была еще гражданская война, Смута. Непосредственным поводом к ней послужило, как известно, убийство или случайное самоубийство царевича Дмитрия.

Веком раньше по сходному поводу разразилась гражданская война в Англии. Ричард III, монарх не более мягкосердечный, чем русский Иван IV или Борис Годунов, тайно извел в тюрьме своих малолетних племянников, имевших право на престол. Это последнее и самое гнусное из целого ряда злодеяний вызвало всеобщее возмущение английского общества. Враждовавшие между собой бароны, сторонники Белой и Алой розы, наконец помирились, выставили общее войско и в решительной битве разгромили армию короля-тирана. Сам Ричард был изрублен в схватке. Его корону, сбитую с головы, нашли где-то под кустом и тут же возложили на голову Генриха VII Тюдора (22). Ничего более серьезного не произошло, и Англия за удовольствие сменить монарха на троне уплатила вполне умеренную цену, потеряв несколько сотен профессиональных воинов.

Совсем иные последствия имело падение царской короны в России. Если число погибших в годы опричнины, по оценке историографов, было равно примерно четырем тысячам (23), то ущерб, причиненный Смутой, вообще не поддается исчислению. Нидерландский посол, прибывший в Москву вскоре после воцарения Михаила Романова, в сообщении на родину так описывает свое путешествие: на всем пути от границы до столицы голландцы, несмотря на зимнюю пору, были вынуждены ночевать в лесу или в чистом поле — деревни выжжены. Кое-где, правда, остались не тронутые огнем избы, и путешественники пытались обосноваться там на ночь, вытаскивая из них трупы бывших обитателей, да нестерпимый смрад выгонял на мороз (24). На юге и юго-востоке Московского царства та же картина, что и на западе и северо-западе. Между тем, как войска Василия Шуйского вели борьбу против «тушинского вора», в открывшиеся бреши на оборонительных рубежах прорвалось более ста тысяч крымских и ногайских татар. Эти походы повторялись из года в год на протяжении всего Смутного времени. Уже в 1611 году рязанцы писали, что татары совершенно обезлюдили их землю, пашни остались незасеянными, все оставшиеся в живых сидят в городе в осаде, нигде даже «не добыть овцы — татары всех вывоевали и выгнали с собой» (25). Русским людям, пережившим такое, даже царствование Грозного должно было казаться «старым добрым временем».

Столь страшные уроки не могли пройти, конечно, даром для всего русского народа, то есть как для класса феодалов и верхушки посадского люда, так и для трудовых масс. Посадские низы и крестьянство оказались перед неразрешимым для той эпохи противоречием в своем отношении к государству и отношении государства к ним. «А государство Московское многолюдно, велико и пространно, сияет светло посреди паче всех инех государств и орд... аки на небе солнце», — писали в Москву донские казаки, взявшие приступом у турок мощную крепость Азов и просившие у царя военной помощи ради ее удержания за Россией (26). Эти в недалеком прошлом бесправные

крепостные крестьяне гордятся своим национальным государством, верны ему до конца, готовы головы положить ради его блага и славы, но в той же челобитной выражено и трагическое сознание того, что в «светлом Московском государстве» «рады... все концу нашему», потому что «отбегаем мы из того государства Московского на работы вечные, от хозяйства невольного, от бояр и дворян государевых. Кому об нас там потужить?». Национальное государство, средство защиты всех от внешней опасности, оказывается вместе с тем и государством классовым, оружием угнетения трудового люда.

Чувство патриотизма поэтому сплошь да рядом сковывает классовую борьбу, мешает ей развернуться в полную силу. Великое смирение перед самодержавием было в определенной степени обратной стороной великой национальной гордости, чувства молчаливого, некичливого, но от этого еще более глубокого и мощного. По понятным историческим причинам чувство это должно было сосредоточиваться и сосредоточивалось на царе как на воплощенном символе национального единства. Объективное противоречие между национальным характером и классовой эксплуататорской сущностью Российского государства преломлялось в сознании народа так, что вся безграничная преданность этому «светлому государству», что «сияет... ако солнце в небе», все надежды на конечное торжество справедливости, все чаяния обездоленных и угнетенных сходились к личности государя, окруженного радужным ореолом народной сказки, а классовая ненависть, еще темная и неосмысленная, направлялась против царских слуг, «изменников бояр и бар». За многие века многострадальная и мужественная Россия накопила в народных недрах огромный революционный потенциал, да только ключ от этого порохового погреба оставался долгое время в руках царизма.

Царский престол осеняли те же знамена, что плыли в пороховом дыму над русскими полками под Полтавой и при Бородине; и это служило ему более надежной защитой, чем солдатские штыки, казачьи пики и вся полицейско-жандармская рать. Николай I не покарал солдат, принявших участие в декабрьском восстании (27). На первый взгляд это кажется странным: за гораздо меньшие проступки забивали шпицрутенами насмерть, а за попытку государственного переворота пальцем не тронули. Между тем в таком решении своя логика была. Царь не мог карать солдат за то, что они повиновались приказам офицеров и остались верными присяге, данной Константину, не подрывая тем самым основного принципа своей власти. Николай I полагал, что рядовой солдат сохранит преданность престолу.

Когда почти полвека спустя новое поколение русских революционеров направилось «в народ», чтобы поднять его на борьбу с царизмом, оно натолкнулось на стену непонимания и подозрительности. Один из таких пропагандистов, вошедший в качестве рабочего в плотничью артель, вспоминает: «Я начинал с расспросов об их деревне, нужде, о том, как у них себя ведет начальство, и затем уже переходил к своим заключениям и обобщениям. Но тут я наткнулся всякий раз почти на одно и то же возражение: соглашавшийся с моими посылками колодезь делал из них своей вывод или подводил свой итог, а именно, утверждал, что сами они, деревенские, во всем виноваты... По этому воззрению им приходится терпеть нужду, обиды и скверное обращение собственно потому, что они сами поголовно пьяницы и забыли бога» (28).

Другая народница, Е. Брешковская, сообщает: «Некоторые крестьяне спрашивали, нет ли под моими грамотами подписи царя или кого-нибудь из его семейства»; один крестьянин-сектант принял ее саму за «царицу или цареву дочку» (29).

Мысль о «подписи царя» легла в основу предприятия «бунтарской группы» в Чигиринском уезде Киевской губернии. Ее руководитель Стефанович выдал себя перед крестьянами за тайного «царского комиссара» и распространил среди них подложный царский манифест, призывавший их вооружаться и подниматься против помещиков в защиту царя и поземельной общины. Такой призыв сразу же был услышан — достаточно отметить, что по Чигиринскому делу было арестовано до 900 крестьян. Историкограф-марксист М. Н. Покровский подводит следующий итог этой революционной попытке: «...Царизм являлся в самой тесной связи с земельным идеалом крестьян. Свои желанья, свои понятия о справедливости крестьяне переносили на царя, как будто это были его желанья, его понятия... В народе возможно было вызвать восстание только от имени царя, т. е. не против существующего порядка, а на защиту его» (30).

Проходит еще один исторический период, и третье поколение русских революционеров сталкивается с тем же психологическим препятствием, на этот раз в среде пролетариата. Тот же историк, сам лично стоявший у истоков социал-демократического движения, вспоминает: «...В 1902 году зубатовская организация больше притягивала к себе рабочих, нежели наша партийная организация. Даже в 1905 году, в начале этого года, У Гапона по малой мере в пять раз было больше рабочих, чем в партии. Про Москву, где был Зубатов, и говорить нечего. Тогда рабочих в наших организациях приходилось считать единицами, а Зубатов согнал к памятнику Александру II в 1902 г., 19 февраля, 50 тысяч человек; он сам поражался такой «громадой» и самодовольно говорил, что для того, чтобы двигать такой «громадой», нужен особый талант, который не у всякого есть» (31). Когда летом 1905 года рабочие Иваново-Вознесенских мануфактур впервые на массовой сходке услышали лозунг «Долой самодержавие!», они «шарахнулись» и стали кричать: «Не надо! Не надо!» (32).

Располагая столь огромным политическим кредитом у русского народа, царизм смог продлить свое существование гораздо дольше и войти в противоречие, по словам В. И. Ленина, с «живыми силами современной эпохи» гораздо глубже, чем это было дано абсолютным монархиям в Западной Европе. История дает недвусмысленный ответ на вопрос о том, что происходит с обществом, не способным разрешить противоречие между «допотопной надстройкой» и требованиями дальнейшего социально-экономического развития. Вот один красноречивый пример:

«...Испания в эту эпоху была всецело католической и монархической, — отмечал французский историк и философ XIX века Ипполит Тэн. — Она победила турок при Лепанто, стала твердой ногой в Африке и вводила

здесь свои учреждения, воевала с протестантами в Германии, преследовала их во Франции, нападала на них в Англии, обращала и поработала идолопоклонников Нового Света, изгоняла евреев и мавров, очищала собственную веру с помощью костров и гонений, расточала флоты, армии, золото и серебро своей Америки, драгоценнейшую кровь своих сынов, живую кровь собственного сердца, на многочисленные, нескончаемые крестовые походы с таким упорством и фанатизмом, что через полтора столетия она пала, истощенная и попираемая Европой, но обнаружила такой энтузиазм, такую пылкую любовь к родине, покрылась столь блестящей славой, что ее подданные в своем увлечении монархией, собравшей воедино их силы, и делом, за которое они жертвовали своей жизнью, имели лишь одно желание: возвеличить религию и короля своим беспрекословным повиновением, образовать вокруг церкви и трона толпу верных бойцов и поклонников» (33).

Подобного же рода эпитафия, по всей видимости, ожидала и Российскую державу.

Подобно Испании XVI века, только что победоносно завершившей Реконкиту, Россия XVIII — первой четверти XIX века подъемом своего международного политического могущества, экономическим процветанием своего правящего класса, быстрым и плодотворным развитием культуры была обязана военным победам. Штыками расчистила она себе выход в Балтику, штыками пробила пути в Черное и даже — по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору с Турцией — в Средиземное море.

В начале XVIII века, после петровских преобразований, она оставалась еще отсталой, по западноевропейским стандартам, страной. Но в ходе Северной войны был наконец положительно решен коренной вопрос ее будущего развития, и поэтому всего через несколько десятилетий после кончины Петра Россия стремительным взлетом обгоняет по основным экономическим показателям другие страны Европейского континента (за исключением разве Нидерландов), оставив позади себя даже передовую, созревшую для буржуазной революции Францию.

С 1762 по 1786 год, то есть за 24 года, число русских мануфактур увеличивается с 984 по 3161, более чем в три раза (34). Такие темпы экономического роста до промышленного переворота никогда еще не достигались на Западе. Во Франции фабрики со 100—200 рабочими считались очень крупными, по русским масштабам той эпохи такие мануфактуры меньше средних (35). Русские шелковые, ковровые, кожаные изделия успешно конкурируют с французскими на европейских рынках. Французский историограф России Левек весьма высоко оценивает качество русских промышленных товаров: «Русским удаются фабрики и ремесла. Они делают тонкие полотна в Архангельске, ярославское столовое белье может сравниться с самым лучшим в Европе, стальные тульские изделия, быть может, уступают только английским. Русская шерсть слишком груба, чтобы можно было фабриковать из нее тонкие сукна, но некогда получали от иностранцев все сукно для обмундирования войск, а теперь иностранцы начинают получать его из фабрик этой страны... Русские настолько даровиты, что они сравниваются и превзойдут в смысле индустрии другие народы, если они когда-нибудь получат свободу» (36). В ряде областей промышленного развития, впрочем, и екатерининская Россия «превзошла другие народы». Так, на втором месте (после пеньки) в русском экспорте занимает уральское железо, далеко оставляя за собой лес, хлеб, продукты скотоводства, холст, полотно. Особенным спросом в Англии пользовалось «соболиное» железо — с сибирским гербом, изображавшим двух стоящих друг перед другом на задних лапах соболей. Английские заводчики предпочитали его шведскому (37). В 1774 году на заседании английского парламента указывалось на то, что русские товары «существенно необходимы» для королевского флота, а бедные классы в Британии без русского полотна обойтись не могут. Вообще говоря, на Западе в эту эпоху господствовало убеждение, что торговля Европы с Россией нужнее первой, чем второй (38).

Бурный экономический рост России, служивший основой ее военной мощи, политического влияния на международной арене и внутреннего культурного развития, продолжался до тех пор, пока не натолкнулся на непреодолимую преграду — на крепостничество. Мануфактурное производство могло еще до поры до времени уживаться с крепостническими порядками, машинное — нет. От того, отменит ли Россия в начале XIX века крепостное право и откроет ли тем самым двери перед промышленной революцией, зависело, останется ли она после победы в Отечественной войне 1812 года ведущей державой Европейского, а быть может, и Азиатского континентов. Альтернативой этому предлагаемому декабристами решению было стремление сохранить все как было, идти проторенным путем, понимание величия России как военно-крепостнической державы — такой альтернативой, короче говоря, стал политический курс Николая I. Истоки этого коренного для той эпохи противоречия следует искать в двойственной социально-экономической природе господствующего класса — феодальный по своему происхождению и привилегиям, он был давно уже теснейшим образом связан с рынком. Перед ним имелся еще выбор: следовать примеру английского дворянства, совершенно обуржуазившегося и сохранившего от прошлого лишь феодальные титулы и гербы, или французского, вцепившегося мертвой хваткой в свои средневековые права и безжалостно, поэтому сметенного буржуазной революцией. Чем дальше, тем яснее становилось русскому дворянству в целом, что крепостничество нерентабельно. Мы не оговорились, применив к помещичьему хозяйству категорию политэкономии капитализма: даже наиболее отсталая его форма основанная на барщине и распространенная главным образом в южных, наиболее плодородных областях России, так же мало походила на традиционное феодальное натуральное хозяйство, как и, скажем, плантация хлопка на юге Соединенных Штатов. Различие между ними, конечно, было несущественным и заключалось лишь в том, что «фабрика зерна» приводилась в действие трудом белых рабов, а «фабрика хлопка» — черных. Но и та и другая в равной мере давным-давно вошли в систему мирового капиталистического производства.

Уровень производительных сил в Российской империи второй половины XVIII века не был ниже того, который оказался достаточным для Великой французской революции, и, несомненно, был выше, чем тот, который послужил основой для английской революции XVII века. Тем не менее давление этих сил «снизу» не только не

привело к революционному взрыву в России ни в XVIII и ни в XIX веке, но не воспрепятствовало даже ее превращению в оплот феодально-крепостнической реакции в Европе. Дело в том, что «крышка на котле, под которым огонь разгорался все сильнее и сильнее, была завинчена слишком туго», или, говоря без метафор, в том, что государственная надстройка, порожденная устаревшими экономическими отношениями, оказалась в России вследствие отмеченных выше особенностей ее истории намного массивнее, прочнее, «взрывоустойчивей», нежели на Западе. Крепостничество, поднимаясь из барской усадьбы в Зимний дворец, оборачивалось царизмом точно так же, как и самодержавие именно в крепостничестве (а позднее в его пережитках) имело свою подлинную экономическую основу.

На развилке исторических путей Россия остановилась на мгновение—14 декабря 1825 года, а затем, повинувшись страшной силе инерции, подавляющей все рассуждения, покатились с вершины могущества и славы, на которую вознес ее 1812 год, к пропасти. Чтобы сохранить свой статус великой державы после победы в Отечественной войне, Россия должна была решить задачу промышленного переворота, задачу для нее принципиально новую, не имевшую на этот раз ничего общего с привычным делом защиты отечества. Решение, предложенное на Сенатской площади, было ею, то есть ее господствующим классом, отвергнуто, а другого не было. История же, подобно Сфинксу из древнегреческого мифа, жестоко расправляется с теми, кто оказывается не на высоте ее задач. Первое ее наказание — застой. Между тем как страны, вводившие у себя машинное производство, устремились вперед, Россия ползла черепашьями шагами, и ее прочный панцирь только сковывал ее движение. Вскоре и панцирь подвергся разъедающей коррозии. Она хотела остаться военной державой тогда, когда находилась в полной безопасности, и через три десятилетия превратилась всего лишь в тень военной державы. В эпоху, предшествовавшую Крымской войне, русские солдаты не заворачивали до конца ни одной гайки на своих ружьях: с разболтанными шурупами команда «к ногам» выполнялась особенно гулко и красиво. Великий князь Михаил Павлович был убежден, что война, отучая солдата от строевой выправки, только портит его. Уровень боеспособности русской армии понижался с каждым десятилетием, и это потому, что она оставалась царской. Упрек декабриста Толстого к покойному императору Николаю был, конечно, как нельзя более справедлив.

Вступи Россия на «прусский путь» развития капитализма (что предполагало отмену крепостного права и сохранение помещичьего землевладения) в начале XIX века, она, по всей видимости, сохранила бы свою гегемонию на Европейском континенте. Но она пошла по нему лишь в шестидесятые годы, после известного манифеста 19 февраля, — время оказалось безвозвратно потерянным. Чтобы наверстать упущенное, она должна бы была устремиться по «американскому пути» через радикальную буржуазно-демократическую революцию, безжалостно сметавшую с лица земли все остатки средневековья и потому обеспечивающую максимум экономического роста при прочих равных условиях — сравнимых, кстати сказать, с североамериканскими. Однако революционная ситуация начала шестидесятых годов не вылилась в крестьянскую революцию. По причинам очень сходным, если не прямо тождественным, с теми, что воспрепятствовали успеху дворянской революции декабристов: царистская идеология укоренилась в сознании крестьянства ничуть не менее глубоко, чем в сознании дворянства. Российский Эдип вторично ошибся при решении загадки Сфинкса. И на этот раз наказание было удвоено: к военной отсталости добавилась экономическая, а следовательно, и политическая зависимость. Россия Екатерины II не была ни отсталой, ни зависимой; Россия Николая I была уже отсталой, но еще была фактически независимой; Россия Александра II, пытаясь избавиться от отсталости при помощи иностранного капитала, с каждым шагом все сильнее запутывается в расставленных им сетях; при Николае II Россия уже лежит, связанная по рукам и ногам, под ножом англо-французского Шейлока, который с полным сознанием своих прав получает фунт пушечного мяса, причитающийся ему за займы, предоставленные царизму на подавление революции 1905—1907 годов. Круг истории замкнулся: самодержавие из защитника России, из представителя ее национального суверенитета превратилось в орудие ее порабощения иностранным капиталом.

Еще народник Степняк-Кравчинский писал: «Причины возникновения и сохранения самодержавия надо искать в истории России и в социальных условиях, исторически оправдывавших его существование... (39). Сыграв свою роль в создании политического могущества России, царизм стал теперь причиной его неуклонного разрушения. Если самодержавие не падет вследствие внутренних причин, то оно потерпит поражение в первой же серьезной войне; будут пролиты реки крови, и страна будет расчленена на куски. Свержение самодержавия стало политической, социальной и нравственной необходимостью. Оно обязательно для блага государства и для блага народа» (40).

Царизм действительно втянул Россию в империалистическую войну, пролил реки крови, потерпел поражение в этой войне и подтолкнул страну к расчленению на куски. Окончательное решение этой последней задачи иностранный капитал возложил на более современную, более гибкую и более послушную его воле политическую систему «плюрализма партий», которая во главе с Временным правительством заменила после февраля 1917 года «допотопное чудовище». Вот почему И. Ленин в письме, направленном Центральному Комитету РСДРП (б) в конце сентября 1917 года, настаивает на «безусловной необходимости» восстания рабочих Питера и Москвы для «спасения революции и для спасения от «сепаратного» раздела России империалистами обеих коалиций...» (41). (Выделено мной. — Ф. Н.)

Итак, русская революция на ее последнем, пролетарском, этапе должна была одновременно со свойственной ему задачей решить и те, что остались в наследство от первых двух. Расшатать и затем опрокинуть твердыню самодержавия, довести до конца буржуазно-демократическую революцию, спасти политическую независимость России в кровавой борьбе против интервенции и белогвардейщины, отстоять ее экономическую независимость после окончания гражданской войны, ликвидировать ее отсталость в кратчайший исторический срок — все это легло на плечи российского пролетариата сверх общепролетарской миссии освобождения народа от ига капитала.

Однако пролетарские революционеры были далеки от того, чтобы бросать упрек своим предшественникам. Первые два поколения передали третьему не только незавершенное дело, но и большой, так сказать, задел революционной работы; они погибли, ко своей кровью вспоили ту революцию, которую Ленин и созданная им партия довели до конца.

Лишь на последнем своем этапе революция вовлекает в свое русло народные массы и становится тем самым непобедимой, но до этого и для этого революционное, далеко еще не массовое движение такое русло должно было проложить, несмотря на свою оторванность от народа, несмотря на свою очевидную слабость перед лицом самовластия. Явное несоответствие наличных сил и средств величию поставленной цели составляет трагический пафос жизни и гибели декабристов, землевольцев, народовольцев. Подобно своим далеким предкам, вышедшим на Куликово поле, они не могли победить и все же победили: русло для могучего потока ими было проложено.

* * *

«Русские дворяне служат государству, немецкие — нам», — обронил как-то в минуту откровенности Николай I (42). «Нам» — это значит династии Романовых или скорее даже Гольштейн-Готторпской. И действительно в день восстания 14 декабря остзейские бароны стеной встали за императора. («Мы не любим русских, — разъяснил впоследствии один из них А. И. Герцену — но во всей империи нет более верных императорской фамилии подданных, чем мы».) (43). И хотя царь своей победой в гораздо большей степени был обязан сплоченной воинской дисциплиной массе русских дворян, которые служили государству, нежели личной преданности остзейских баронов, капля горечи и тревоги ясно чувствуется в этом признании, те, кто на Сенатской площади выступил против него, тоже стояли за государство. Судьбы династии и России начали бесповоротно расходиться.

Отношение к государству — вот ось тождества русских поборников самодержавия и их противников, декабристов. Вокруг этой неподвижной оси Россия царская в лице передового отряда своего правящего класса повернулась на 180° и превратилась в свою прямую противоположность — Россию революционную.

Момент относительного тождества противоположностей нужно особо выделить во избежание довольно распространенного, но от этого не менее ошибочного взгляда, согласно которому наряду с официальной царской Россией и под ней всегда существовала какая-то политически безликая народная Россия с заунывными песнями, безудержной удалью, березовыми венками и масленичными блинами. Из знакомства лучших людей помещичьего класса с этой народной политически нейтральной Россией и из любви к ней, вызванной западным лучом свободы, якобы и родился декабризм. Это метафизическое представление, и проистекает оно из неспособности постичь зарождение нового как переход в него его же противоположности и из стремления по этой причине предположить новое извечно сущим, хотя бы и в зародышевом состоянии.

Историограф, сколь-либо знакомый с диалектическим методом, такой ошибки, естественно, не совершит. Он скажет, что до определенного исторического момента вся Россия (народная, в частности) оставалась целиком и полностью царистской даже в лице Пугачева — Петра III; что *царистская* Россия, а не какая-нибудь еще, когда этот роковой для нее исторический момент наступил, пришла к своему отрицанию, превратилась в свою противоположность, стала революционной Россией. Сначала в одном только человеке (им был А. Н. Радищев), затем в горстке дворянских революционеров, которые «страшно далеки от народа» потому, что сделались республиканцами, между тем как народ еще долго оставался верным царю, затем в несравненно более широком слое революционеров-разночинцев и, наконец, в основной массе русского народа. Когда произошло это последнее превращение, царизм умер. Он мог еще стрелять в народ, но ни его террор, ни террор его последышей, белых генералов, уже не могли остановить победной поступи революции, ибо народ нельзя запугать ничем, если он верит в правоту своего дела. Но для того чтобы правильно понять революцию в этом ее торжествующем половодье, нужно не только подняться от ее устья к истокам, но и дать себе отчет в том, каким это образом тогда, в конце XVIII и начале XIX века, произошел переход в нее ее же противоположности и что от этой противоположности сохранилось в ней.

А. И. Герцен в своей работе «О развитии революционных идей в России» характеризует империю Петра I и Екатерины II как «молодой, деятельный, не знающий узды деспотизм, равно готовый и на великие дела, и на великие преступления» (44), а говоря в «Пролегомене» о современной ему «империи фасадов», замечает, что в ней только и есть неподдельного, настоящего, что доблесть воинская да доблесть революционного отрицания (45). Спрашивается, существует ли какая-нибудь органическая связь между готовностью и способностью «екатерининских орлов» не только на великие преступления, но и на великие дела и революционностью их сыновей в александровское время, между доблестью воинской и доблестью революционеров?

Бросим же взгляд в екатерининскую эпоху. Вот один из приближенных императрицы доносит в Зимний, что, несмотря на огромное превосходство сил турок, он не мог спокойно переносить вид неприятеля перед собой и атаковал его. Автор реляции — П. А. Румянцев. Неравенство сил действительно велико: 14 тысяч штыков против 80 тысяч ятаганов и сабель. Результат неожиданного для турок нападения на берегу Ларги: у русских убито 29 гренадеров и ранено 61, а их противник, обратившийся в паническое бегство, оставляет на месте бочее тысячи тел (46). Через пару недель русская армия получившая некоторое подкрепление и достигшая 17 тысяч, встречается у реки Кагул со свежим стопяти-девятитысячным войском везира Халил-бея, обрушивается на него, берет приступом турецкий укрепленный лагерь захватывает всю артиллерию противника, истребляет до 20 тысяч янычар и турецкой конницы (47).

Вот другой екатерининский вельможа, Алексей Орлов. Ему императрица обязана престолом, его она осыпала

золотом и почестями, отдала обширнейшие земельные владения, десятки тысяч крепостных душ. Ему этого мало, ему душно в атмосфере дворца, ему не хватает опасности, и он выпрашивает у Екатерины как величайшую милость назначение в экспедицию русского флота, отправляющегося из Балтики в Средиземное море для встречи с турецким. По дороге он сообщает в Зимний: «...Признаюсь чистосердечно, увидя столь много дурных обстоятельств в одной службе, так: великое упущение, незнание и нерадение офицерское и лень, неопрятность всех людей морских, волосы дыбом поднялись, а сердце кровью облилось. Командиры не устыдились укрывать недостатки и замазывать гнилое красками» (48). Собственно говоря, политический руководитель морского похода, сам ранее видевший море лишь с палубы прогулочной царской яхты, должен был до его начала знать общее положение в русском флоте, который со времен Петра стоял на приколе и не мог поэтому порядком не прогнить как в прямом, так и в переносном смысле. Он, конечно, это знал, как знала и Екатерина, которая в ответ утешала его, чем могла: «Ничто на свете нашему флоту столько добра не сделает, как сей поход. Все закоснелое и гнилое наружу выходит, и он со временем будет круглехонько обточен» (49).

Только времени-то оставалось немного, и обтачивать его нужно было самому Орлову и адмиралам Спиридову и Грейгу. Обтачивали, не теряя ни единого дня. Проводили маневры на штормящем Северном море, вели стрельбу по цели, заменяли в Англии гнилой такелаж и чинили на ходу все, что можно было починить. Наконец, долгожданная встреча происходит: перед русскими вырастает турецкий флот, втрое превосходящий их по числу боевых единиц, вдвое по числу орудий, с экипажами, укомплектованными профессиональными корсарам, против рекрутов из Костромской да Ярославской губерний.

Орлову предстоит выбирать между оборонительной и наступательной тактикой, предложенной адмиралами, и он высказывается за наступление. В ходе артиллерийской дуэли, длящейся весь день, русские вынуждают турок укрыться в Чесменской бухте, а в следующую ночь сжигают брандерами их скучившиеся корабли. Адмирал Спиридов под впечатлением только что пережитого писал графу Ивану Чернышеву: «Турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили и оставили на том месте престрашное позорище, а сами стали быть во всем Архипелаге господствующими» (50).

Григорий Орлов, фаворит Екатерины, завидует славе своего брата, графа Чесменского, томится и хандрит. Негде приложить свою силу: и на суше и на море все стало больно спокойно. Наконец из старой столицы доходят до него вести, выводящие из апатии: в Москве чума, волнения, чумной бунт. Толпа черни громит все, попадающееся под руку, зверски убивает архиепископа, полиция перед ней бессильна. На худой конец, когда войны нет, и чума благо, вот и обращается он к царице с просьбой назначить его на время заразы московским генерал-губернатором. Та, безутешная вдова, не хочет расставаться со своим Гришей, со своей верной опорой в полном превратности житейском море, но должна уступить. Английский посланник лорд Каткерт в последний момент пытается переубедить его, показав, какой страшной опасности тот подвергает себя. В дипломатической записи беседы сохранился ответ Орлова: «Все равно, чума или не чума, во всяком случае я завтра выезжаю; я давно уже с нетерпением ждал случая оказать значительную услугу императрице и отечеству; эти случаи редко выпадают и никогда не обходятся без риска; надеюсь, что в настоящую минуту я нашел такой случай...» (51)

А вот еще одна картина нравов века — на этот раз в духе семейной идиллии. Бессменный фаворит Екатерины (другие приходят и уходят, а он остается), второй после самой императрицы человек в государстве и человек, взявший у жизни все, о чем может мечтать смертный, в час отдыха сажает себе на колени маленького мальчика, своего внучатого племянника, и, лаская его, пытается внушить ему, вложить в сознание ребенка несколько важнейших правил жизненного поведения. Он даже излагает их на бумаге в особой тетрадке. Бойкому, непоседливому мальчишке поучения скучны; он теряет и тетрадь с дядиными наставлениями, но первые строки из нее он все же запоминает навсегда: «Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем...» (52)

Этот заботливый, любящий дедушка — князь Г. А. Потемкин, а его юный невнимательный собеседник — Николенька Раевский, ставший впоследствии очень известным в русской армии генералом. Характерно начало его военной карьеры. Достигнув пятнадцатилетнего возраста, он, как и многие его сверстники из знатных семей, поступил на действительную службу сразу гвардейским прапорщиком. Однако его могущественный покровитель рассудил иначе. Потемкин, будучи командующим русской армией, действовавшей против турок, прикомандировал своего внучатого племянника к одному из казачьих полков с приказом «употреблять в службу как *простого казака* (курсив мой. — Ф. Н.), а потом уже по чину поручика гвардии». Светлейший князь, заботясь о слабом здоровье Николеньки, считал лучшим лекарством от всех хвороб «казачью науку» с ее службой на аванпостах, в разведке, в походном охранении, с ее повседневным «обхождением с неприятелем», причем с таким серьезным, как турецкая конница.

С тех пор Н. Н. Раевский участвовал во всех войнах, что вела при его жизни Россия, и перебивал на самых опасных участках боевых действий. Под Смоленском летом 1812 года его 15-тысячный корпус в течение целого, несомненно долгого дня выдерживал натиск французской армии до подхода сил Багратиона. При Бородине 7-й корпус под его командованием встал на пути главного удара французов. На «кургане Раевского» Наполеон сосредоточил огонь основной массы своей артиллерии, на его захват бросил отборные дивизии, трижды превосходившие по численности силы защитников, этот, по французской терминологии, «центральный редут», «большой редут», «роковой редут» переходил из рук в руки, на нем и у его подножья легли десятки тысяч людей, но русская оборона здесь, на решающем направлении, так и не была прорвана.

Уроки, полученные в отрочестве и юности, как видно, были усвоены Раевским хорошо, и он сам, в свою очередь, спешит преподавать их уже своему потомству: «Николай Николаевич... — рассказывает его внук Н. М. Орлов, — взял с собою в армию (в 1812 году. — Ф. Н.) своих малолетних детей, из которых старшему,

Александр, едва минуло 16 лет, а меньшему, Николаю, недоставало нескольких дней до 11-летнего возраста... Этим-то недоросткам довелось сослужить службу отечеству... В деле под Дашковкой они были при отце. В момент решительной атаки на французские батареи Раевский взял их с собою во главе колонны Смоленского полка, причем меньшего, Николая, он взял за руку, а Александр, схватив знамя, лежавшее подле убитого в одной из предыдущих атак нашего прапорщика, понес его перед войсками. Геройский пример командира и его детей до иступления одушевил войска: замешкавшиеся было под картечью неприятеля, — они рванулись вперед и все опрокинули перед собою...» (52а)

Вот на таких-то традициях и возшло поколение декабристов, получившее закал в огне Отечественной войны 1812 года. Удивительно ли, что из семейства Раевских, этого орлиного гнезда, вышел и декабрист (брат Николая Николаевича), и женщина, добровольно пошедшая в Сибирь за своим мужем-декабристом? Удивительно ли, что сам Н. Н. Раевский был готов примкнуть к тайному обществу, что будущие декабристы считали его «своим» и прочили в члены революционного правительства? Удивительно ли, что племянник Алексея и Григория Орлова, Михаил Федорович Орлов, награжденный за храбрость чуть ли не всеми орденами империи, удостоенный царем высокой чести принять капитуляцию Парижа в 1813 году, стал одним из основателей Союза благоденствия и одним из вождей Северного общества?

Собственно говоря, переход на сторону революции самых верных царских слуг несколько не парадоксален. То же правило диалектики можно продемонстрировать на множестве далеких от России примеров. Ограничимся одним из них. Мартин Лютер, дерзко бросивший вызов духовной власти папы римского и тем положивший начало Реформации, писал: «...Пусть читатель не забывает, что я был монахом и отъявленным папистом, до такой степени проникнутым и поглощенным доктриною папства, что если бы мог, готов был или сам убивать, или желать казни тех, кто отвергал хотя бы на йоту повиновение папе. Защищая папу, я не оставался холодным куском льда, как Эк и ему подобные, которые, право, сделались... защитниками папы скорее ради своего толстого брюха, чем по убеждению в важности этого предмета» (53).

Чтобы Лютер стал Лютером, он должен был быть сначала не веселым монахом, потешавшимся над легковерием покупателей индульгенций, не салонным аббатом, привыкшим высказывать остроумно-пренебрежительное отношение к догматике католицизма в кругу избранных, но человеком, глубоко верующим в то, что исповедовал. Без этой глубоко оскорбленной веры неоткуда было взяться страстной энергии в отрицании основ римско-католической церкви. И точно так же первые русские революционеры внесли в борьбу против царизма ту же самоотверженность, ту же привычку идти до конца, не оглядываясь назад, тот же закал, что получили они сами и их предки, близкие и далекие, на царской же службе. Многие ли из офицеров русской армии проявили робость на поле боя, многие ли из их отцов и матерей предпочли виселице целование руки самозваного Петра III?

Вглядываясь в Румянцевых и Суворовых, Спиридовых и Ушаковых, Потемкиных и Орловых, вслушиваясь в их речи, вчитываясь в их письма, начинаешь понимать, что, помимо новых поместий с тысячами крепостных, помимо титулов, помимо звезд, лент через плечо и табакерок с портретом императрицы, усыпанных бриллиантами, у этих людей за душой было еще и нечто другое, призывающее их на исполненную тяжкими трудами, лишениями и грозными опасностями службу. «Нечто другое» — это проникнувшее в плоть и кровь сознание того, что «в службе — честь!», что, помимо всяких наград, великое счастье в том, чтобы отдать России свои силы, ум, энергию, кровь и жизнь. Оттого-то Суворов, отставленный Павлом от службы в армии, томится и скучает в родном поместье и вновь оживает духом, когда подставляет свое старое, немощное тело ледяному, пронизывающему ветру альпийских вершин. Оттого Алексей Орлов доверяет свою судьбу капризу волн, а его брат — милости чумы. Оттого князь Потемкин Таврический обучает Николая Раевского не секретам успеха при дворе, не искусству быть фаворитом — последним он сам, как видно, мало гордился.

Честь! Самая воинская из всех добродетелей, дочь чувства долга. Она заставляет солдата быть жестким к себе, избавляет его сердце от трепета перед смертью, делает самую мысль о пощаде, даруемой врагом, невыносимой. Она сродни, конечно, гражданской совести, но в отличие от нее постоянно напряжена как тетива, бросающая стрелу в цель, заставляет человека идти прямо, не сворачивая, навстречу победе или гибели, какие бы препятствия ни возникали на его роковом пути.

«...Прощаясь в последний час, они все пожали друг другу руки. На них надели белые рубашки, колпаки на лицо и завязали им руки. Сергей Муравьев и Пестель нашли и после этого возможность еще раз пожать друг другу руки. Наконец, их поставили на помост и каждому накинули петлю. В это время священник, сошедши по ступеням с помоста, обернулся и с ужасом увидел висевших Бестужева и Пестеля и троих, которые оборвались и упали на помост, Сергей Муравьев жестоко разбился; он переломил ногу и мог только выговорить: «Бедная Россия! и повесить-то порядочно у нас не умеют!» Каховский выругался по-русски. Рылеев не сказал ни слова. Неудача казни произошла оттого, что за полчаса перед тем шел небольшой дождь, веревки намокли, палач не притянул довольно петлю, и когда он отпустил доску, на которой стояли осужденные, то веревки соскользнули с их шеи. Генерал Чернышев, бывший распорядитель казни, не потерял голову: он велел тотчас же поднять трех упавших и вновь их повесить. Казненные оставались недолго на виселице; их сняли и отнесли в какой-то погреб, куда едва пропустили (священника) Мысловского; он непременно хотел прочесть над ними молитвы» (54).

Вглядимся в эти дорогие лица, прежде чем на них наденут колпаки. Они спокойны, как спокойна их совесть. Свой долг они выполнили как могли.

Вот эта самоотверженность без пафоса, отвращение к театральной декламации и театральному жесту,

естественность, нежелание и неумение взглянуть на себя со стороны, неспособность брать на себя роль станут отличительными чертами русского революционера и в двух последующих поколениях. С. Степняк-Кравчинский, повествуя иностранному читателю о делах народовольцев, воссоздает внутреннюю атмосферу этого революционного общества:

«Глубоко ошибается тот, кто станет воображать себе это страшное сборище таким, каким обыкновенно рисуют заговорщиков на сцене. Все собрания нигилистов отличаются необыкновенной простотой и полнейшим отсутствием той помпы, которая так несвойственна русскому характеру вообще, а нигилистам в особенности.

Даже в тех случаях, когда людям приходится рисковать головой или прямо нести ее на плаху, все у нас делается просто, без малейшей тени риторики. Никаких одушевляющих речей. К чему? Они вызвали бы разве что улыбку как вещь совершенно неуместную. Публики при наших заседаниях нет. Рисоваться не перед кем. Собираются люди все свои, знающие друг друга вдоль и поперек. К чему же упражняться в красноречии? К чему тратить время на разглагольствования о том, что ясно как божий день?..

Не в меру красноречивые, ходульные герои, какими любят изображать «нигилистов» иностранные романисты, вызвали бы у нас не энтузиазм, как это им приписывается, а подозрение в своей искренности и серьезности: известно, что раз собака залает, — она уже не укусит» (55).

Та же самая характеристика вполне приложима и к последнему, пролетарскому, поколению революционеров. Различные классы представляли собой три поколения, и каждое из них, конечно, имело свое социальное лицо, но некоторые родственные черты — и очень важные — встречаются и у дворянских революционеров, и у «нигилистов»-бомбометателей, и у красногвардейцев 1917 года. Это черты русского народа.

* * *

Герцен пишет: «...Когда в 1826 г. Якубович увидел князя Оболенского с бородой и в солдатской сермяге, он не мог удержаться от восклицания: «Ну, Оболенский, если я похож на Стеньку Разина, то неминуемо бы должен быть похож на Ваньку Каина!..» Тут взмолился комендант: арестантов заковали и отправили в Сибирь на каторжную работу.

Народ не признал этого сходства, и густые толпы его равнодушно смотрели в Нижнем Новгороде, когда провозили колодников в самое время ярмарки. Может, они думали: «Наши-то сердечные пешечком ходят туда — а вот господ-то жандармы возьят!» (56)

Но встреча с народом все же произошла. По ту сторону Уральского хребта, в «мертвом доме». Герцен так заключает свою мысль: «Итак, в лесах и рудниках Сибири впервые Россия петровская, помещичья, чиновничья, офицерская и Русь черная, крестьянская, сельская, обе сосланные, скованные, обе с топором за поясом, обе, опираясь на заступ и отирая пот с лица, взглянули друг на друга и узнали давно забытые родственные черты» (57).

Нечто очень схожее случилось и со вторым поколением русских революционеров.

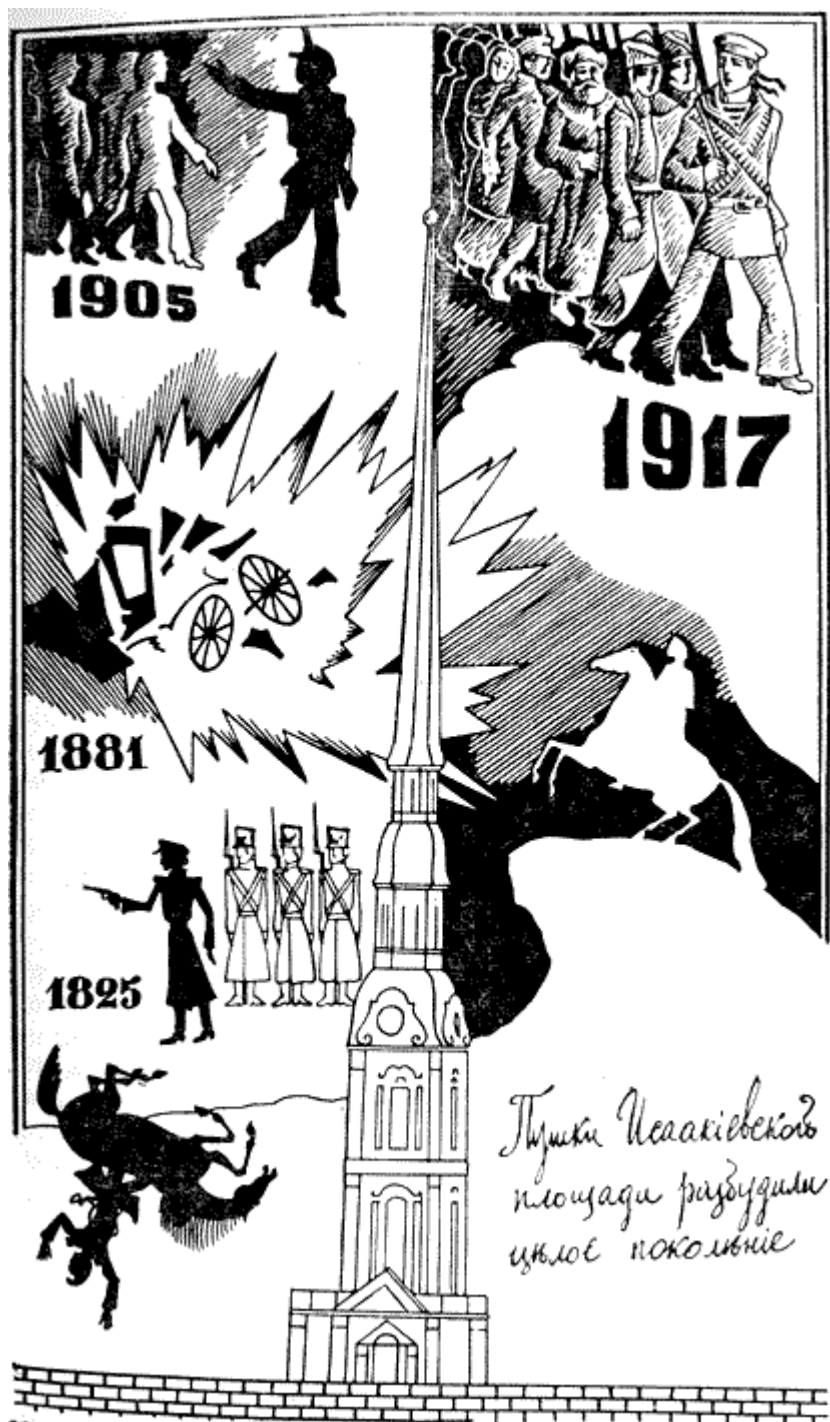
Если первое даже не пыталось взывать к русскому народу, то второе, «пошедшее в народ», обнаружило вскоре полную тщету своих призывов. «Опростившийся» и одетый под мужика студент мог долго, упорно, доходчивым, как ему казалось, языком толковать крестьянам на сельском сходе о тяжести их доли, о безземелье, о полицейском произволе и т. д. и в ответ только и слышать тупое: «Сами мы, мол, во всем виноваты — много пьем и забыли бога». Какой-нибудь косноязычный юродивый с веригами под рубахой легко и просто находил путь к крестьянским сердцам, а он, революционер-агитатор, говорил как будто перед глухими. Народ не понимал его, и он не понимал народа. «Желябов рассказал трагикомическую историю своего народничества. Он пошел в деревню, хотел просвещать ее, бросить лучшие семена в крестьянскую душу; а чтобы сблизиться с нею, принялся за тяжелый крестьянский труд. Он работал по 16 часов в поле, а, возвращаясь, чувствовал одну потребность растянуться, расправить уставшие руки или спину, и ничего больше; ни одна мысль не шла в его голову. Он чувствовал, что обращается в животное, в автомат. И понял, наконец, так называемый консерватизм деревни, что пока приходится крестьянину так истощаться, переутомляться ради приобретения куска хлеба... до тех пор нечего ждать от него чего-либо другого, кроме зоологических инстинктов и погони за их насыщением. Подозрительный, недоверчивый крестьянин смотрит искоса на каждого являющегося в деревню со стороны, видя в нем либо конкурента, либо нового соглядатая со стороны начальства для более тяжкого обложения этой самой деревни. Об искренности и доверии нечего и думать. Насильно мил не будешь» (58). Из этого «наильно мил не будешь», из этого отчаяния мужественных людей и выросла «Народная воля».

Мотив «наильно мил не будешь» пронизывает объяснение Андрея Желябова от начала до конца. Слишком явно в нем чувствуется горечь и боль неразделенной любви, чтобы принимать его всерьез. Консерватизм деревни приписывается вождям «Народной воли» непомерной тяжести крестьянского труда, но разве накануне 1905 или 1917 годов русский мужик работал меньше, чем в шестидесятые годы XIX века?

В 60-е годы народ еще не расстался с верой в царя, с отождествлением державы с царизмом. Вот почему, собственно, революционная ситуация в тот момент вылилась не в революцию, а в торжество реакции. «Народ, — замечает Герцен, — ...ожидал, с наивной верой, иной свободы от своего царя, золотой воли, воли... с землей. Царь отвечал ему ружейными выстрелами; но крестьяне, падая, проклинали дворян и сохраняли веру в царя» (59). Не так будет обстоять дело в 1905—1907 годах во время карательных экспедиций по русским деревням отрядов Дубасова, но тогда Россия уже дорастет до своей революции. Пока же революция эта проходила своей, так сказать, инкубационный период: объективно непримиримое противоречие между императорством, устаревшей политической надстройкой, своею чудовищной тяжестью давившей все живое, и потребностями дальнейшего

развития России уже было налицо, но субъективно, оно еще не проникло в сознание народных масс, не овладело им. В поэтическом образе «...ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь!» очень точно передана трагическая диалектика такого периода. Убогая, смиренная, иссеченная розгами и кнутом крестьянская Россия имела свою гордость и если не сознание, то по крайней мере темное, неясное чувство своей несокрушимой силы.

Сильный не винит в своем бедственном положении никого, кроме самого себя. Внутреннее достоинство замыкает его в молчании. Он не жалуется, разве что в песне, которая поется не для чужих ушей, не ищет поддержки извне и не терпит участливой слезы от постороннего. Ему не нужна барская ласка, он выслушает от «господ хороших», зачем-то переодетых в простолюдинов горячие речи о том, как он угнетен, но не признает этого угнетения... до поры, до времени



Вот чего так и не понял Андрей Желябов за все время своего «хождения в народ». Страда превращала его в «животное и автомат». После рабочего дня этот богатырь — кстати сказать, не только духом, но и телом — валился ниц как подкошенный и сразу же проваливался в мертвый сон. Он не видел, как деревенские парни и девушки после такого же, но привычного для них напряжения сил гуляли за полночь под гармонику по улицам села. Завтра им вставать, как всегда, до зари, но им жаль теперь упускать *свое времечко*, и двух-трех часов сна с них будет довольно, чтобы подняться на каждодневную суровую борьбу за кусок хлеба бодрыми, бойкими, веселыми. И он не слышал их песен, а то обратил бы внимание на те, что пелись про Степана Разина. Тщетно вот

уже третье столетие православная церковь предавала анафеме «вора и кровопийцу»; в памяти народной Степан Тимофеевич остался расцвеченный всеми цветами легенды. Им гордились, им любовались, его любили. И чуткий слух революционера мог бы различить в песнях этого цикла не столько сожаление о прошлом, сколько надежду и веру в то, что праздник отмщения, *красные денечки* Разина и Пугачева наступят снова. Всего этого даже Андрей Желябов не увидел, не услышал и не понял.

Только В. И. Ленин по-настоящему понял русскую деревню и по достоинству оценил всю мощь ее революционного заряда. И русская деревня, со своей стороны, приняла вождя пролетариата за своего, поверила ему, пошла за ним, дала в Красную Армию своих сынов, чтобы сломить хребет «благородному сословию» и получить землю, чтобы довести до конца то дело, ради которого Степан Тимофеевич и Емельян Иванович сложили на плахе головы. В 1918 году, выступая перед военспецами, В. И. Ленин сказал, что русский крестьянин-середняк «умен и патриотичен», а потому поймет необходимость введения железной дисциплины в армии (60). И русское крестьянство в своей огромной массе поняло и приняло все, что разъяснял ему этот городской человек, никогда не стремившийся походить на деревенского жителя, никогда не занимавшийся «опрошением» — ни во внешности, ни в одежде, ни в языке, ни в образе мыслей.

Но товарищей Андрея Желябова, пропагандистов «Земли и воли», русская деревня не поняла и не приняла. Тщетно пытались походить они на крестьян одеждой, говором, манерой держаться — этот маскарад вызывал лишь недоверие и скрытую насмешку. Мужики так же холодно провожали их, как и встречали.

...2 марта 1881 года, на следующий день после убийства Александра II, Андрей Желябов, арестованный, но не уличенный в принадлежности к «Народной воле», просит принести ему чернила, перо и бумагу и пишет: «...Я требую приобщения себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения... Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости... лишь по недостатку формальных уликов против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить одну виселицу, а не две» (61). Софья Перовская во время свидания в тюрьме с матерью успокаивает ее: «Помни, мамочка, что я с радостью встречу смерть. Единственное, чего я боюсь, это помилования» (62). Напрасно боялась Софья Львовна, напрасно опасался Андрей Иванович излишней щепетильности или робости правительства: самодержавие даже ввиду той огромной политической выгоды, которую дало бы помилование народовольцев, не могло пойти на него, не изменив своей собственной природе, — справедливость им была оказана. И они взойшли на эшафот, на заслуженный ими пьедестал, смертью своей, как круговой порукой, спаяв с делом революции судьбу следующего поколения.

Подобное отношение к вопросу смерти и морального долга совсем не редкость на страницах русской истории. Ограничимся пока одним сопоставлением. В XVII веке одним из самых ярких защитников старой веры от нововведений патриарха Никона выступает протопоп Аввакум. Повсеместным успехом своей проповеди он обязан не обширности своей богословской эрудиции, не тонкому искусству вести споры о «божественном» и даже не особому дару красноречия. Это не Абельяр и не Фома Аквинский. В начале своего «Жития» он няется перед читателями: «...Не позазрите просторечию нашему, понеже свой русский природный язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных бог слушает, но дел наших хочет» (63).

Страшная сила убеждения, исходящая из его речей, простых и безыскусных, имела своим источником постоянную готовность самого проповедника подтвердить любое из своих слов делом. После нескольких лет ссылки в Даурию (ныне Забайкалье), где Аввакум вместе с семьей много терпел от голода, холода и издевательств местного воеводы, ему «показывают милость», возвращают в Москву, а он, как сам рассказывает в «Житии», по дороге «по всем городам и селам, во церквах и на торгах кричал, проповедуя слово божие, и уча, и обличая безбожную лесь» (64). В «белокаменной» его ласкают бояре, сам царь принимает от него благословение, ему обещают должность придворного духовника, ему дают деньги в надежде на его примирение с церковью. Но он непримирим, его не купить, как и не запугать.

Тогда снова пытаются сломить Аввакума силой: бросают в темницу, сажают на цепь, бьют, не дают еды в течение трех дней, приводят к плахе и заставляют смотреть, как с нее падают головы ревнителей «древлего благочестия», велют положить на нее свою и только в последнюю минуту объявляют о новой «царской милости» — о замене смертной казни на ссылку. «...Потом привели нас к плахе и, прочет наказ, меня отвели, не казня, в темницу. Чли в наказе: Аввакума посадить в земли в струбе и давать ему воды и хлеба. И я сопотив того плюнул и умереть хотел, не едши, и не ел дней с восемь и больши, да братья паки есть велели» (65).

Боярыня Евдокия Цехановицкая, жена воеводы, под надзор которого был помещен Аввакум в Мезени, обращается к протопопу с призывом: «Умири ты, за что стоишь, и меня научи, как умереть... Дел моих нет; токмо верою уповаю быти при тебе, как верую и держу, и умираю с тем, как проповедуешь и страждешь за что» (66). И он учит умирать и ее, и своих братьев по вере в темнице, и в своих посланиях далекую семью.

«В те же поры, — повествует «Житие», — и сынов моих родных двоих, Ивана и Прокопья, велено ж повесить (после казни на виселице других поборников старой веры. — *Ф. Н.*); да оне, бедные, оплошали и не догадались венцов победных ухватити: испужався смерти, повинились. Так их и с матерью троих в землю живых закопали (то есть поместили во вкопанный в землю деревянный сруб. — *Ф. Н.*). Вот вам и без смерти смерть!.. А мать за то сидит с ними, чтоб впредь подкрепляла Христа ради умирать, и жила бы, не развешав уши; то баба бывало нищих кормит, сторонних научает, как слагать персты и креститца и творить молитва, а детей своих и забыла покрепить, чтоб на виселицу пошли и с доброю дружиной умерли за одно Христа ради» (67).

Самому неистовому протопопу «победный венец» дался в руки не так просто. Пятнадцать лет просидел он в подземном срубе, ухитряясь время от времени пересылать на волю послания, в которых он «лаял» царя. И все же он добился своего; мечта его о «венце славы» сбылась: в 1682 году «за великие на царский дом хулы» дерзкий проповедник вместе с тремя наиболее ревностными своими единоверцами в том срубе был сожжен.

Не случайно ли такое совпадение? Что, в самом деле, могло быть общего между фанатично преданным делу старой веры протопопом и теми, кого Тургенев назвал «нигилистами». В *области идей* ничего общего и не было. Спор о том, как нужно креститься — двуперстием или тремя пальцами, — должен был представляться соратникам Желябова, которые вообще не крестились, чем-то вроде дискуссии в «Путешествии Гулливера» о том, с какого конца следует разбивать яйца — с острого или тупого. Революционная проповедь, которую приняли было вести народники в раскольнических скитах, вызывала у их обитателей лишь тягостное недоумение. Никаких точек соприкосновения между двумя идеологиями найдено не было, поскольку символ веры старообрядцев и убеждения революционеров оказались даже не противоположными, а развернутыми, так сказать, в разных плоскостях.

Но ведь и сходство слишком разительно, чтобы быть простой случайностью. Софья Перовская в предсмертном письме утешает мать: «...Я о своей участи нисколько не горюю, совершенно спокойно встречаю ее, так как давно ждала и ожидала, что рано или поздно так будет... Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения, поступать же против них я была не в состоянии, поэтому со спокойной совестью ожидаю все, что предстоит мне» (68). В «Житии» сказано: «Так я, протопоп Аввакум, верую, так проповедую, с сим живу и умираю» (69) Не случайно Степняку-Кравчинскому при описании в «Подпольной России» той отчаянной борьбы, что вели его товарищи на родине, приходит на ум то, как «двести лет тому назад протопоп Аввакум и его единомышленники всходили на плаху и костер,...» (70) Не случайно у Веры Фигнер, соратницы Перовской, взгляд на картину Сурикова «Боярыня Морозова» воскрешает в памяти 3 апреля 1881 года, день казни народовольцев:

«После Шлиссельбурга в архангельскую ссылку Александра Ивановна Мороз привезла мне прекрасную большую гравюру с картины Сурикова «Боярыня Морозова». Она привезла мне ее, потому что знала, какое большое место в моем воображении в Шлиссельбурге занимала личность протопопа Аввакума и страдальца за старую веру боярыня Морозова, непоколебимо твердая и такая трогательная в своей смерти от голода... Гравюра говорит живыми чертами — говорит о борьбе за убеждения, о гонении и гибели стойких, верных себе. Она воскрешает страницу жизни... 3 апреля 1881 года... Колесницы цареубийц... Софья Перовская...» (71)

...«Сущность есть *снятое бытие*», — утверждает великий учитель диалектики Гегель (72). «Снятие» же, в его понимании, представляет собой единство противоположностей — уничтожения и сохранения (73). Прошлое проходит, исчезает безвозвратно, но, уничтожаясь, оно переливается в настоящее и тем самым сохраняется, нагляднейший пример тому — рост дерева. Дерево живет листьями, как листья деревом. Поколение за поколением сменяются они каждый год на его ветвях и усыпают осенью его подножие. И жизнь каждого поколения, его «бытие», исчезая, сохраняется в годовом кольце ствола, переходит в устойчивую сущность. Срез показывает, что ствол, *в сущности*, и состоит всего лишь из слоев «снятого бытия».

Если встать на эту, диалектическую, точку зрения, то можно проследить, как через многие века и эпохи, передаваясь от поколения к поколению, складывались те черты и свойства, которые вкуче составили национальный характер.

И сегодня в облике нашего современника мы узнаем лучшие черты соотечественников, живших 100, 200, 500 и более лет назад. В этих чертах угадывается живая связь времен и поколений.

Национальный характер, как и всякая сущность, то есть нечто устойчивое, нечто повторяющееся в многообразии сменяющих друг друга явлений, есть величина относительно неизменная. И она в ходе исторического процесса может принимать противоположные знаки. Размах колебаний в нашей стране между ее отрицательными и положительными значениями отличался необыкновенной для Европы широтой. Оттого-то царская Россия XVIII—XIX веков служила пугалом для западных революционеров и либералов, а в XX веке Россия Советская приводит в трепет либералов и реакционеров всего мира, как сила революционная и революционирующая.

Уже у Радищева встречаются строки, совершенно немыслимые для его времени: «Посмотри на русского, найдешь его задумчивым. Если захочет разогнать скуку или, как то он сам называл, повеселиться, то — в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обгаренный кровью от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской» (74). Читая такое, не только Карамзин, для которого «история российской», была не более чем цепь великих княжений и царствований, не только историографы норманнской школы, для которых Россия была всего лишь пассивным материалом в руках германского творческого духа, но и филантроп Новиков могли только недоуменно пожать плечами. Однако ни декабристы, ни Герцен, ни Белинский, ни вошедшие вслед за ним в общественную жизнь демократы-разночинцы не утратили обретенную на почтовом тракте из Петербурга в Москву спокойную уверенность в том, что последнее слово в «решении доселе гадательного в истории российской» — и не только российской — принадлежит, как бы то ни было многострадальному и долготерпеливому народу русскому.

«У меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые

занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества», — писал П. Я. Чаадаев в своей «Апологии сумасшедшего» (75).

Чаадаева, как известно, душевный надлом, вызванный поражением восстания декабристов, привел к мистицизму. Оттого вера в русский народ окрашивается у него в цвет мессианизма, принимает характер идеи предопределения, предначертания свыше. Его младший современник А. И. Герцен, пошедший от декабристов другим путем (который, кстати сказать, привел его, по словам В. И. Ленина, «вплотную к диалектическому материализму») (76), отвергает телеологический взгляд на историю, предостерегает своих единомышленников от того, «чтоб и нам не впасть в израильский грех и не считать себя народом Божиим, как это делают наши (двоюродные) братья славянофилы» (77). «Мы не верим ни призванию народов, — продолжает Искандер свою мысль, — ни их предопределению, мы думаем, что судьбы народов и государств могут по дороге меняться, как судьба всякого человека, но мы вправе, основываясь на настоящих элементах, по теории вероятностей делать заключения о будущем» (78). И в поисках этих «настоящих элементов», из которых, как из кирпичей, вероятнее всего, сложится будущее, он обращает свой взор туда же, куда с еще смутной надеждой смотрел Радищев:

«...Этот дикий, этот пьяный в бараньем тулупе, в лаптях, ограбленный, безграмотный, этот пария, которого лучшие из нас хотели из милосердия оболванить, а худшие продавали на своз и покупали по счету голов, этот немой, который в сто лет не вымолвит ни слова и теперь молчит, — будто он может что-нибудь внести в тот великий спор, в тот нерешенный вопрос, перед которым остановилась Европа, политическая экономия, экстраординарные и ординарные профессора, камералисты (то есть, говоря современным языком, парламентарии. — *Ф. Н.*) и государственные люди?» (79)

«Народ русский для нас — больше чем родина. Мы в нем видим ту почву, на которой разовьется новый государственный строй, почву, не только не заглохшую, не истощенную, но носящую в себе все зерна всхода, все условия развития. Будущность ее — для нас логическое заключение.

Тут речь идет не о священной миссии, не о великом призвании, весь этот юдаический и теологический хлам далек от нашей мысли. Мы не говорим, видя беременную женщину, что ее миссия быть матерью, но, без сомнения, считаем себя вправе сказать, что она родит, если ей не помешают.

Убеждение наше, что в России осуществится часть социальных стремлений, — совершенно независимо от того, что мы родились в России. Физиологическое сродство, кровная связь с народом, со средой, может, предшествовали пониманию, ускорили, облегчили его — но вывод, однажды достигнутый — или вздор, или должен стать независимо от пристрастий и случайностей» (80).

Еще раньше друг и единомышленник Искандера В. Г. Белинский писал:

«Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении: из всех славянских племен только мы сложились в крепкое и могучее государство, и как до Петра Великого, так и после него, до настоящей минуты, выдержали с честью не один суровый час, не раз были на краю гибели, и всегда успевали спастись от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе, чуждом внутреннего развития, не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль, но какое это слово, какая эта мысль, — об этом пока рано хлопотать. Наши внуки или правнуки узнают это безо всяких усилий напряженного разгадывания, потому что это слово, эта мысль будет сказана ими...» (81)

Однако и сам Белинский уже знал «это слово, эту мысль», но не мог его заявить, ее выразить в подцензурной печати. Из его личной переписки явствует, какая именно мысль захватила его целиком, какое слово стало «альфой и омегой всего». Это слово — СОЦИАЛИЗМ (82). Но то, о чем лишь намеком мог говорить Белинский, не было причин скрывать Герцену:

«Надежды и стремления революционной России совпадают с надеждами и стремлениями революционной Европы. Национальный элемент, привносимый Россией — это свежесть молодости и природное тяготение к социалистическим установлениям» (83).

«Россия никогда не будет *juste milieu* (золотой серединой. — *Ф. Н.*). Она не восстанет только для того, чтобы отделаться от царя Николая... (84) Петербург опередит Москву... но если царизм падет, центр свободы будет в центре нации, в Москве» (85).

...Такого рода предсказания кажутся удивительными даже в устах революционера, но еще более они поражают, когда исходят от людей, очень далеких от идей и целей революции.

«Мы убедимся тогда, — пишет Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя», — что настоящее социальное слово несет в себе никто иной, как народ наш, что в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого...»

Мы первые объявим миру, что не через подавление личностей иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспевания, а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельном развитии всех других наций и в братском единении с ними, восполняясь одна другою, прививая к себе их органические особенности и уделяя им и от себя ветки для прививки, сообщаясь с ними душой и духом, участь у них и уча их, — и так до тех пор, когда человечество, восполняясь мировым общением народов до всеобщего единства, как великое и великолепное древо осенит собой счастливую землю» (86).

Л. Н. Толстой, уже глубокий старик, однажды, что-то вспомнив, обратился к своим гостям в Ясной Поляне:

— Что за чудо случилось со мной... Подите, пойдемте, все. Я вам почитаю сон, какой я видел 43 года назад.

Повел в свой кабинет, раскрыл дневник, нашел запись, сделанную в 1865 году. В своем сне, показавшемся ему пророческим, Лев Николаевич увидел, что *русский народ освобождает землю от власти собственности*. В 1908 году он вновь выражает свое глубокое убеждение в том, что всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности (87). Глядя в будущее, великий русский писатель предсказывал: «Существующий строй жизни подлежит разрушению... Уничтожиться должен строй соревновательный и замениться должен коммунистическим; уничтожиться должен строй капиталистический и замениться социалистическим; уничтожиться должен строй милитаризма и замениться разоружением и арбитрацией...» (88). Вот что отразило в себе «зеркало русской революции».

Мы не случайно вспомнили эту афористическую формулировку из ленинской статьи, посвященной великому русскому писателю Л.Н.Толстому. Связь великой русской литературы XIX века с Великой Октябрьской революцией улавливается неопровержимо. Подобно тому как французская литература XVIII века, низвергая авторитет традиций, готовила не только Францию, но и всю Европу к буржуазной революции, так и русская литература, воспитывая души людей, прокладывая тем самым в России и во всем мире путь к великой революции против власти денег. Еще в 1850 году Герцен отмечал, что русская литература все больше проникается «социалистическими тенденциями и одушевлением» (89). До поры до времени ее воинствующая антибуржуазность казалась капиталистическому Западу всего лишь пикантной приправой к русской экзотике — примерно так же, как королевский двор в Версале находил очень забавным сарказмы Вольтера и остроты Бомарше. Выстрел «Авроры» открыл всем глаза. И неслучайно, что сразу же после Октября, несмотря на острейшую нехватку бумаги, классика русской литературы издается и расходуется в народе тиражами, в десятки раз превышающими обычные для прошлого нормы. Это сама Революция сознательно берет на вооружение произведения Толстого и Достоевского, Тургенева и Чехова, Пушкина и Лермонтова, ибо они служат ей для распространения и углубления ее морального воздействия на массы.

О той роли, которую сыграла русская литература, выразительница совести народной, в духовном воспитании третьего поколения революционеров, можно судить хотя бы по высказыванию В. И. Ленина, относящемуся к 1901 году:

«...Роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература; пусть... да довольно и этого!» (90)

* * *

Российская социал-демократия уходила историческими корнями глубоко в родную почву. Она гордилась своими славными предшественниками, восприняла их боевой дух и продолжила их революционные традиции. Этот дух и эти традиции всех трех поколений русских революционеров явственно носили на себе отпечаток национального характера, который, в свою очередь, был предопределен вполне конкретными особенностями отечественной истории.

С другой стороны, социал-демократы, большевики осуществляли то, о чем народники могли только мечтать, а декабристы и мечтать не смели: они осуществляли слияние сознательного революционного движения с народной стихией. Благодаря этому второй натиск бури в феврале 1917 года смел самодержавие.

Третий — Октябрьский — вал превратил в кучу обломков капиталистический строй в России и пробил зияющую брешь в крепостной стене мирового империализма. Он родился от одного из тех подземных толчков, что сотрясают капитализм во всех странах, но свою всесокрушающую ударную мощь обрел, разогнавшись лишь на российских просторах. Великая Октябрьская социалистическая революция, повторим это, наряду с общими для всякой победоносной пролетарской революции закономерностями несла в себе и некоторые индивидуальные национальные особенности.

Выше шла речь о таких из них, как своеобразие классовой борьбы в России до возникновения сознательного революционного движения, об особенностях этого движения, о том революционном наследии, которое российская социал-демократия получила из рук предшествовавших ей поколений борцов против царизма, об особом отношении русского народа к своему национальному государству и к другим народам, вошедшим в состав того же государства и превратившим его в многонациональное, об особом отношении трудовых масс России к вопросам войны и мира. Какую роль сыграли все они в победе Октября?



ОКТЯБРЬСКАЯ БУРЯ

«Единственное настоящее своеобразие русского исторического процесса, — писал в 1924 году М. Н. Покровский, полемизируя с Троцким, — заключается во все более бурном его темпе, чем ближе к нашему времени — и как результат этого — в такой яркой *революционности*, какой мы не найдем в странах Запада. Но это разница количественная, а не по существу. Правда, количество и тут склонно переходить в качество, как показало появление на свет Советской России» (1).

И действительно, все особенности русской истории сходятся в конечном счете к одной: к такой яркой революционности России, которая до сих пор неизвестна Западу. Об огромной, хотя и скрытой вплоть до 1905 года революционной энергии русского крестьянства уже шла речь выше. Остановимся поэтому сейчас на причинах, обусловивших максимум революционности российского пролетариата. Об этих причинах вполне определенно писал В. И. Ленин еще в 1901 году.

«...Национальные задачи русской социал-демократии таковы, каких не было еще ни перед одной социалистической партией в мире» (2).

«История поставила теперь перед нами ближайшую задачу, которая является *наиболее революционной* из всех *ближайших* задач пролетариата какой бы то ни было другой стороны. Осуществление этой задачи, разрушение самого могучего оплота не только европейской, но также (можем мы сказать теперь) и азиатской реакции сделало бы русский пролетариат авангардом международного революционного пролетариата. И мы вправе рассчитывать, что добьемся этого почетного звания, заслуженного уже нашими предшественниками, революционерами 70-х

годов, если мы сумеем воодушевить наше в тысячу раз более широкое и глубокое движение такой же беззаветной решимостью и энергией» (3).

Революционеры 70-х годов передали своим последователям не только «беззаветную решимость и энергию», но и основополагающие принципы боевой организации, организационный опыт. В. И. Ленин обвинение «экономистами» «Искры» в «народовольчестве» находил *лестным* для нее (4), поскольку речь шла не об идеологии, не о тактике, но именно об организационных основах создаваемой партии нового типа. На страницах «Что делать?» он находит нужным дать следующее разъяснение: «...У нас так плохо знают историю революционного движения, что называют «народовольчеством» всякую идею о боевой централизованной организации, объявляющей решительную войну царизму. Но та превосходная организация, которая была у революционеров 70-х годов и которая нам всем должна бы была служить образцом, создана вовсе не народовольцами, а *землевольцами*, расколовшимися на чернопередельцев и народовольцев. Таким образом, видеть в боевой революционной организации что-либо специфически народовольческое нелепо и исторически и логически, ибо *всякое* революционное направление, если оно только действительно думает о серьезной борьбе, не может обойтись без такой организации. Не в том состояла ошибка народовольцев, что они постарались привлечь к своей организации всех недовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием. В этом состоит, наоборот, их великая историческая заслуга» (5). Вообще говоря, российская социал-демократия, породившая партию нового типа (нового по отношению к социалистическому движению на Западе), в смысле организационной преемственности уходит своими корнями довольно глубоко в отечественную историю. Ленинская «Искра» за рубежом имела прочную базу в лице «Освобождения труда», состоявшего сплошь из бывших чернопередельцев во главе с Г. В. Плехановым и сохранившего ценнейший опыт конспиративной работы эпохи «Земли и воли». «Земля и воля» 70-х годов не случайно взяла то же название, что и подпольная революционная организация, созданная Н. Г. Чернышевским и А. И. Герценом в начале шестидесятых. Связующим идеологическим звеном между ними, по-видимому, следует признать публицистику П. Н. Ткачева, который в идейной борьбе с «бунтарями» бакунистами отстаивал принципы централизма, иерархичности и военной дисциплины в организации революционеров. С другой стороны, А.И.Герцен и Н.П.Огарев имели возможность ознакомиться из первых рук с правилами и практикой конспиративной работы в тайных обществах декабристов. По крайней мере, еще в Москве в тридцатые годы Герцен поддерживал самые дружеские отношения, несмотря на разницу в возрасте, и подолгу беседовал с глазу на глаз с М. Ф. Орловым, активным членом этих обществ, а уже на чужбине сотрудничал с другим видным участником движения, Н. И. Тургеневым. Нужно думать, необходимые разъяснения были им получены, раз «Колокол» с поразительной легкостью преодолевал все полицейские барьеры на своем пути в Россию. А если это так, то искра, о которой писал князь Одоевский из сибирских рудников, пробежала по непрерывной цепи русских революционеров вплоть до великого взрыва 1917 года.

Партия большевиков стала партией нового типа не только, разумеется, потому, что вобрала в себя богатейший организационный опыт предшествовавших ей поколений русских революционеров, но и потому, что, взяв на свое идейное вооружение интернациональную научную теорию марксизма-ленинизма, она смогла применить этот опыт на несравненно более широкой и прочной классовой основе — пролетарской. Тем самым РСДРП (б) превзошла свои первоначальные образцы во всех отношениях.

Не более тридцати тысяч членом насчитывалось в рядах ленинской партии накануне Февральской революции 1917 года. Тридцать тысяч на всю громадную Россию! Но эта малочисленная партия представляла собой великолепную организацию, гибкую, прочную, одушевленную единой волей и связанную с пролетарскими массами. Это был прекрасно обученный, закаленный в боях корпус революционеров во главе с генштабом революции — Центральным Комитетом. Пройдет всего несколько месяцев, и корпус, выросший до 350 тысяч, поведет пролетариат на победный штурм капитализма.

«Организируйте массу для борьбы путем борьбы и во время борьбы, только таким образом вы создадите в ней самостоятельность, самоуверенность и стойкость, каких она не имела до сих пор...» (6) — учил Г. В. Плеханов, когда был еще революционером. В том и отличие обычных армий от армий революции, что первые формируются, обучаются и вооружаются до войны, а вторые возникают в самом огне классовой борьбы. А в том, что касается царской России, выражение «в самом огне» нужно понимать далеко не только в фигуральном смысле.

Николай I открыл свое царствование, собственноручно приложив факел к пальнику орудия, заряженному картечью, а Николай II завершил свое приказом о расстреле голодных толп в Петрограде. Еще в 1905 году, выслушав доклад генерала Казбека о том, как ему удалось, не прибегая к оружию, вернуть в казармы взбунтовавшихся солдат Владивостокского гарнизона, государь мягким тоном хорошо воспитанного человека вместо ожидаемой похвалы изрек: «В народ *всегда* надо стрелять, генерал!» (7) И самодержавие *всегда* стреляло, едва завидев перед собой революцию или хотя бы призрак ее. Это была семейная традиция Романовых, правивших Россией, не жалея патронов.

В уставе гарнизонной службы царской армии, между прочим, было записано: «Для предупреждения неповиновения толпы ни стрельба вверх, ни стрельба холостыми патронами не должны быть допускаемы» (8) — стреляли только прямо в толпу и только боевыми патронами. И наконец, 25 февраля на площадях Петрограда стало происходить нечто невиданное даже в России: «Как только, для разгона толпы, офицер подавал команду «на руку», женщины и подростки хватились за ружья, раздавались просьбы, убеждения, крики — и смущенные солдаты опять брали «к ноге»... (9)

Смущение, впрочем, продолжалось недолго. Ранним утром 27-го Волынский полк, вынужденный накануне

стрелять в народ, перебил в казармах офицеров-палачей и с красными знаменами вышел на улицу. Царская корона покатила по петроградской мостовой. Февральская революция свершилась.

Русская буржуазия в отличие от царизма пыталась подкупить рабочих, создав в их среде, по примеру Запада, свою социальную опору, «рабочую аристократию». И, нужно признать, экономические предпосылки для зарождения и развития социал-реформизма в России имелись.

Существовала Российская империя, то есть колониальный источник подкупа рабочего класса метрополии. В самом русском рабочем классе, как и повсюду в Европе, существовал, подобно унтер-офицерскому костюму армии, корпус мастеров, высококвалифицированных рабочих, получавших повышенную заработную плату и пользовавшихся особым благорасположением хозяев. Существовала весьма широкая дифференциация между рабочими профессиями по уровню доходов, жизненному уровню, образу жизни.

Сколь-либо обстоятельный экономико-социологический анализ такой дифференциации выходит далеко за рамки нашей книги, и поэтому ограничимся здесь лишь сравнением заводского и фабричного дореволюционного рабочего на основании такого авторитетного свидетельства, каким нам представляются личные воспоминания Г. В. Плеханова:

«...Между рабочими, как и повсюду, я встречал людей, очень различавшихся между собой по характерам, по способностям и даже по образованию. Одни, подобно Г-у, читали очень много, другие так себе, не много и не мало, а третьи предпочитали книжке «умные» разговоры за стаканом чаю или за бутылкой пива. Но в общем вся среда отличалась значительной умственной развитостью и высоким уровнем своих житейских потребностей. Я с удивлением увидел, что эти рабочие живут несколько не хуже, а многие из них даже гораздо лучше, чем студенты. В среднем каждый из них зарабатывал от 1 р. 25 коп. до 2 рублей в день. Разумеется, и на этот, сравнительно хороший, заработок нелегко было существовать семейным людям. Но холостые, — а они составляли между знакомыми мне рабочими большинство, — могли расходовать вдвое больше небогатого студента. Были среди них и настоящие богачи, вроде механика С, ежедневный заработок которого доходил до трех рублей. С. жил на Васильевском острове вместе с В. (который на сходке у меня так горячо отстаивал пропаганду в рабочих кружках). Эти два друга занимали прекрасно меблированную комнату, покупали книги и любили иногда побаловать себя бутылкой хорошего вина. Одевались они, в особенности С, настоящими франтами. Впрочем, все рабочие этого слоя одевались несравненно лучше, а главное, опрятнее, чище нашего брата студента. Каждый из них имел для больших okazji хорошую черную пару и, когда облакался в нее, то выглядел «барин» гораздо больше любого студента. Революционеры из «интеллигенции» часто и горько упрекали рабочих за «буржуазную» склонность к франтовству, но не могли ни искоренить, ни даже хотя бы отчасти ослабить эту будто бы вредную склонность. Привычка и здесь оказывалась второй натурой. В действительности рабочие заботились о своей наружности не больше, чем интеллигенты о своей, но только заботливость их выражалась иначе. Интеллигент любил принарядиться по-«демократически» в красную рубаху или в засаленную блузу, а рабочий, которому засаленная блуза надоела и намозолила глаза в мастерской, любил, придя домой, одеться в чистое, как нам казалось, в буржуазное платье. Своим, часто преувеличенно небрежным, костюмом интеллигент протестовал против светской хлыщеватости; рабочий, заботясь о чистоте и нарядности своей одежды, протестовал против тех общественных условий, благодаря которым он слишком часто видит себя вынужденным одеваться в грязные лохмотья. Теперь, вероятно, всякий согласится, что этот, второй, протест много серьезнее первого...

Чем больше знакомился я с петербургскими рабочими, тем больше поражался их культурностью. Бойкие и речистые, умеющие постоять за себя и критически отнестись к окружающему, они были горожанами в лучшем смысле этого слова...

Прошу читателя иметь в виду, что я говорю здесь о так называемых заводских рабочих, составляющих значительную часть петербургского рабочего населения и сильно отличающихся от фабричных как по своему сравнительно сноскому экономическому положению, так и по своим привычкам. Фабричный работает больше (12—14 часов в день) и получает меньше заводского (18—25 р. в месяц). Он носит ситцевую рубаху и долгополую поддевку, над которыми подсмеивается заводской рабочий. Он не имеет возможности нанимать отдельную квартиру или комнату, а живет в общем артельном помещении. У него более прочные связи с деревней, чем у заводского рабочего. Он знает и читает гораздо меньше, чем заводской, и вообще он ближе к крестьянину» (10).

Ныне на Западе любят противопоставлять беспросветную нищету, каторжный труд, несправие и, конечно, «темноту» и «бескультурье» русского дореволюционного пролетария относительно благосостоянию, социальным правам, достаточно высокому уровню образованности рабочих в высокоразвитых капиталистических странах Европы. Первому, дескать, не оставалось ничего иного, кроме вооруженной борьбы, насилия и установления диктатуры, а перед вторым раскрываются другие, более заманчивые перспективы... Впрочем, не только ныне. В 1920 году один из непризнанных предтеч «евроунизма», Криспин, от имени представляемой им Независимой социал-демократической партии Германии с трибуны II конгресса Коминтерна рассказывает делегатам, насколько более высокую заработную плату получают и вообще лучше живут немецкие рабочие по сравнению с русскими. Революцию, продолжает он, можно в Германии произвести лишь в том случае, если она «не слишком» ухудшит экономическое положение пролетариата. Конечно, он сторонник завоевания рабочим классом политической власти, но демократическим путем, а не посредством диктатуры (11).

Стремилась и стремятся «объяснить» Октябрьскую революцию только концентрацией в России угнетения, эксплуатации, нищеты в невиданных для цивилизованного Запада размерах. Все это, конечно, было. Но почему же в таком случае пролетарская революция не произошла там, где степень угнетения, эксплуатации и нищеты была еще выше, чем в России? «В общем всемирно-историческом смысле верно, — замечает В. И. Ленин, отвечая Крисшшу, — что в отсталых странах какой-нибудь китайский кули не в состоянии произвести пролетарскую революцию...» (12) В российском же национальном масштабе столь же верно, что пролетарскую революцию был

не в состоянии произвести один фабричный рабочий при всей его нищете и угнетенности и даже при всем его горячем желании вырваться из нищей жизни и покончить с угнетением. Между прочим, именно фабричные, наиболее тесно связанные с крестьянством, а потому и в наибольшей степени подверженные влиянию мелкобуржуазной стихии, оставались наиболее долго оплотом меньшевизма. В. И. Ленин, вскрывая корни реформизма в русском рабочем движении, указывал не на «рабочую аристократию», которая в России в отличие от Запада почти отсутствовала, но на мелкобуржуазное окружение российского пролетариата (13).

Но почему же все-таки заводские рабочие или хотя бы их высший слой составили в России не развращенную до мозга костей буржуазными подачками «рабочую аристократию», а авангард пролетарской революции? По вышеприведенному свидетельству Плеханова, разрыв в зарплате между «богатым» заводским и бедным (без кавычек) фабричным рабочим достигал пятикратного размера (3 рубля в день у первого и 18 рублей в месяц у второго). Военная конъюнктура 1914—1917 годов еще более увеличила это расхождение. Получая сверхприбыли на правительственных оборонных заказах и стремясь максимально загрузить оборудование в условиях острого дефицита рабочей силы, русские заводчики были вынуждены показать купеческую «широту натуры», щедро оплачивая сверхурочные работы. Рабочие-металлисты (на многих из них распространялась броня, и многие были возвращены из окопов к станку) не могли среди окружающего их моря народной нищеты особо жаловаться на тяжесть своего материального положения.

К тому же помимо косвенного предпринимались попытки и самого прямого и грубого подкупа рабочей верхушки. Делалось это через так называемые «военно-промышленные комитеты» и образованные при них «рабочие группы», но только в 15 процентов от общего числа комитетов согласились войти рабочие (14). В Петрограде один из лидеров российской буржуазии, Коновалов, помышлял даже о создании «пролетарской армии» для оказания давления на царское правительство в пользу Думы и для борьбы против большевистского влияния (15). Что же из всего этого в конце концов вышло?

Вышло то, что — если говорить об августе-октябре 1917 года — практически все рабочие-металлисты, от мастеров до подмастерьев, записались в Красную гвардию. Один Путиловский завод дал около 40 тысяч бойцов. По уровню мобилизации добровольцев не отставали от него рабочие коллективы гранатного завода, заводов Рено, Лаферна, Сестрорецкого, Обуховского (16). То же было в Москве и других крупных промышленных центрах. Красная гвардия брала Зимний, Красная гвардия вместе с не обученными сухопутному бою матросами остановила наступление регулярных казачьих частей Краснова на Петроград, Красная гвардия сопровождала триумфальное шествие Советской власти по просторам России, Красная гвардия делом доказала верность лозунгу «Умрем за Советы!», когда по призыву заводских гудков ее отряды, вооруженные лишь винтовками и пулеметами, пошли сквозь людские потоки разбегавшейся с фронта старой армии навстречу надвигающейся на Петроград всеокрушающей кайзеровской военной машине и остановили ее.

Заводские рабочие увлекли за собой и фабричных. Меньшевики, отказавшись признать власть Советов, сразу же потеряли остатки своего влияния в рабочей среде. Российский пролетариат в отличие от западноевропейского не был раздроблен, обессилен и в конечном счете парализован плюрализмом партий, но вступил в решающую классовую битву как единый могучий монолит.

Заводские рабочие оказались достаточно культурными и умственно развитыми для того, чтобы сломить саботаж государственных служащих, заняв при необходимости их место. Достаточно демократичными, чтобы, не в пример предыдущему поколению революционеров, найти общий язык с деревенской беднотой и крестьяннином-средняком. Достаточно сплоченными и дисциплинированными, чтобы самим превратиться в организующую и дисциплинирующую силу, в оплот новой государственности среди хаоса обломков, среди стихии мелкобуржуазной анархичности. Достаточно самоотверженными и великодушными, чтобы взять на себя тяжесть борьбы за счастье грядущих поколений. Достаточно бескорыстными, чтобы без колебаний перешагнуть роковую черту, не пожалев о былом, дореволюционном, уюте и относительном благосостоянии. «Диктатура пролетариата в России, — указывал В. И. Ленин, — повлекла за собой такие жертвы, такую нужду и такие лишения для господствующего класса, для пролетариата, каких никогда не знала история...» (17)

Российский пролетариат, как и предвидел вожьд его в 1901 году, разрушил «самый могучий оплот европейской и азиатской реакции», каким был русский царизм. Решение этой наиболее революционной задачи из всех тех, которые стояли в ту эпоху перед пролетариатом какой бы то ни было другой страны, превратило его в «авангард международного революционного пролетариата». В «Кровавое воскресенье» 1905 года царь пытался запугать привычным для него способом рабочих, но он не знал своего народа. Русский рабочий принял вызов, и в революцию оказались вовлеченными как наиболее зажиточные пролетарские слои (заводские), так и более бедные, менее культурные, далекие от политики и прежде лояльные самодержавию отряды фабричных рабочих. Зарево от московского пожара в декабре 1905 года, вызванного огнем императорской артиллерии по пролетарским баррикадам, увидела вся Россия, как и раньше, в 1612 и 1812 годах.

Во время борьбы с самодержавием и путем этой борьбы большевики организовали рабочие массы, создали в них ту стойкость, уверенность в своих силах, инициативу, вдохнули в них ту беззаветную решимость и энергию, которые позднее сделали возможной первую в мире социалистическую революцию. И далеко не последнее место среди душевных качеств подлинного бойца занимает чувство собственного достоинства: тот, кто готов идти на смерть ради великого идеала, не кинется, подобно собаке, на брошенную с барского стола кость. Не улучшение рабского состояния нужно было российскому пролетариату, но полное избавление от него. Русской буржуазии не удалось подкупить рабочих именно потому, что царизму было не под силу запугать их.

Сочетание этих субъективных факторов революционности российского пролетариата с объективными (сравнительно высокий уровень развития капитализма в России, переход его в стадию империализма, высокая

концентрация и централизация производства, сосредоточение пролетарских масс в жизненно важных для страны политических центрах и т. д.) предопределило превращение рабочего класса России в могучую армию социалистической революции.

В. И. Ленин говорил, что европейский пролетариат заражен оппортунизмом.

«Евросоциализм» от имени высокоразвитого пролетариата Запада пытался учить оппортунистскому умозауму «неразвитых» русских рабочих. Отвечая на одну из таких выходов, В. И. Ленин заметил западноевропейским товарищам: «У нас правое крыло не получило развития, и это было не так просто, как вы думаете, говоря о России в пренебрежительном тоне» (18). В России «экономизм» был отсечен от рабочего движения еще «Искрой» до создания РСДРП. В результате последовательной борьбы В. И. Ленина против русской разновидности бернштейнианства, открытый оппортунизм не привился на русской почве, и влияние правого крыла на российский пролетариат в итоге оказалось равным нулю или около того. И если «независимцы» в Германии или последователи Отто Бауэра в Австрии с успехом сходили за «левых», то соответствующий им в России меньшевизм занимает крайне правое место в рабочем движении. Астрономам известен «эффект красного смещения» в спектре лучей звезды, удаляющейся от Земли с огромной скоростью. Подобный же эффект западные наблюдатели отмечали и в российском политическом спектре, где алая полоса большевизма все более и более вытесняла собой нежно-розовый цвет стыдливо прикрытого реформизма: Россия неудержимо, с астрономической скоростью устремлялась к социализму.

Взглянем на Германию эпохи ноябрьской резолюции 1918 года. Героические «спартаковцы» являли собой революционное меньшинство германского пролетариата: в январе и марте 1919 года под красным знаменем сражалось несколько сот тысяч, никак не больше одного миллиона рабочих. Немецкие «меньшевики», Независимая социал-демократическая партия, собрали на январских выборах 1919 года 2,3 миллиона голосов тех, кто был сторонником социалистических преобразований, но мирным, демократическим путем без применения насилия и без установления диктатуры пролетариата. Правая же социал-демократическая партия Германии увлекла за собой абсолютное большинство пролетариата и государственных служащих — 11,5 миллиона человек! (19) Потомственный рабочий, социал-демократ Носке, возглавивший подавление восстания «спартаковцев» и введший чрезвычайные военные суды для расправы с пленными революционерами, на съезде СДПГ не без гордости заявил: «Я взялся за это, хотя знал, что меня поволокут через всю историю германской революции в образе «кровавой собаки». Я произвел эту кровавую работу, руководимый глубоким сознанием долга. Тогда я сказал себе: кто-нибудь должен ведь делать историю...» (20) (Позднее тем же «сознанием долга» оправдывали на Нюрнбергском процессе свою кровавую работу лидеры другой германской «рабочей партии» — НСДАП.) Ему аплодировали.

Либо классовый мир угнетенных с угнетателями и война между народами, либо мир между народами и классовая война — эта решающая для судеб социалистической революции альтернатива встала перед всеми воевавшими странами Европы и Америки в 1914—1918 годах, но только Россия сделала правильный выбор. И только в России — среди всех разваливавшихся империй — многонациональные трудовые массы пожелали сохранить или, вернее, воссоздать государственное единство для отпора классовому врагу и новой общей жизни. Революционность России не может быть понята полностью, если игнорируются ее исторические особенности в многовековых отношениях между народами.

Чтобы оценить всю важность этих особенностей, этого исключения из общего правила многонациональных империй, нужно еще раз вернуться к самому правилу. Вот, к примеру, картина межнациональных отношений довольно, вообще говоря, на Западе обычная, но совершенно немыслимая в нашей стране даже в самые мрачные периоды ее истории.

«Все промышленные и торговые центры Англии, — писал К. Маркс из Лондона в 1870 году, — обладают в настоящее время рабочим классом, который *разделен* на два *враждебных* лагеря: английский пролетариат и ирландский пролетариат. Обыкновенный английский рабочий ненавидит ирландского рабочего... Он чувствует себя по отношению к нему представителем *господствующей* нации и именно потому делается орудием в руках своих аристократов и капиталистов *против Ирландии*, укрепляя этим их господство *над самим собой*. Он питает религиозные, социальные и национальные предубеждения по отношению к ирландскому рабочему. Он относится к нему приблизительно так, как белые бедняки относятся к неграм в бывших рабовладельческих штатах американского Союза. Ирландец с лихвой отплачивает ему той же монетой. Он видит в английском рабочем одновременно соучастника и слепое орудие *английского господства в Ирландии*».

Этот антагонизм искусственно поддерживается и разжигается прессой, церковными проповедями, юмористическими журналами — короче говоря, всеми средствами, которыми располагают господствующие классы. *В этом антагонизме заключается тайна бессилия английского рабочего класса...* (21)

Корни англо-ирландского антагонизма уходят в XII век, а его горькие плоды пожинает Ольстер и поныне. Задолго до появления английского промышленного пролетариата Генрих II Плантагенет, Елизавета I, Оливер Кромвель, Вильгельм Оранский своими кровавыми делами в Ирландии заложили основу идейного порабощения английского рабочего английским буржуа. Ирландия стала начальной школой британского колониализма, и английский рабочий класс закончил ее с отличием. В XIX веке, веке «маленьких» империалистических войн, ведшихся по всему свету, он завершил вторую ступень шовинизма с аттестатом зрелости. Зрелости для участия в «великой» мировой империалистической войне. В том-то и отличие рядового английского рабочего не только от русского пролетария, но даже и от русского крестьянина.

Говоря о тайных договорах между империалистическими хищниками относительно послевоенного раздела добычи, В. И. Ленин указывал: «Если бы эти договоры опубликовать и ясно сказать на собраниях русским рабочим

и русским крестьянам, в особенности в каждой *захолустной деревушке* (подчеркнуто мной. — Ф. Н.): вот за что ты воюешь сейчас... то всякий скажет: такой войны мы не хотим» (22). И в этом смысле любая захолустная деревушка в России опередила рабочие предместья индустриальных городов Западной Европы.

«Что касается Англии и Германии, — утверждает в своем исследовании «Европа в эпоху империализма 1871—1919 гг.» академик Е. В. Тарле, — то при всем различии их политического строя в указанный период решительно невозможно вообразить себе, что в вопросах колоссальной важности, могущих поставить страну перед опасностью войны, английское или германское правительство могло бы годы и годы вести политику, решительно осуждаемую большинством рабочего класса» (23).

Победа оппортунизма в пролетарском движении на Западе и привела к тому, что большинство рабочего класса оказалось жертвой шовинистической демагогии и поддержало политику «своих» правительств. Затем, уже в годы войны, сходной моральной цели послужил лозунг «защиты отечества», но в понятие «отечества» британский солдат вкладывал, помимо Англии и Шотландии, также Ирландию и всю «свою» колониальную империю, а германский «защитник отечества» не только настоящую, но и будущую, еще более великую Германскую империю.

На заседании одной из комиссий II конгресса Коминтерна Квелч, представлявший Британскую социалистическую партию, сказал, что рядовой английский рабочий считал бы за измену помогать поработенным народам в их восстаниях против английского владычества (24). Рядовой английский обыватель считал справедливым то, что Англии принадлежат Ирландия, Индия, Египет, и не видел ничего предосудительного в том, чтобы ей принадлежали также и Ирак, и Палестина, и многое другое. А рядовому германскому мещанину все это казалось, напротив, крайне несправедливым. Он чувствовал себя и своих детей обделенными куском колониального пирога, ему также не терпелось взвалить на плечи «бремя белых» и заняться «культуртрегерством» среди цветных на островах Океании и на Африканском континенте, на Востоке Ближнем и Дальнем..., но, для того чтобы получить право на белый пробковый шлем, приходилось надевать пока островерхую стальную каску защитного цвета.

Именно то, что психологический комплекс своей принадлежности к «народу-господину», едва прикрытый «интернационалистской» фразой как фиговым листком, всегда сохранял свою власть над сознанием обыкновенного, рядового западноевропейского труженика, именно это дало возможность идейно развращенной и прямо подкупленной «рабочей аристократии» выполнить свою задачу барана-provokatora и повести послушные массы на кровавую империалистическую бойню. Ведь обмануть можно только тем, во что жертва обмана хочет верить. В России шовинистический угар, раздуваемый правящими кругами и буржуазией, хотя и захватил на первых порах довольно значительную часть трудящихся, особенно крестьянство, долгого и прочного успеха среди них не имел.

В фабричном поселке и в захолустной русской деревушке не хотели воевать за то, чтобы России принадлежали Константинополь и Галиция. Там не было высокомерного чувства превосходства над другими народами. Не господства над ними, а равенства и братства с ними желали. Это помогло большевикам открыть глаза русскому народу на правду о войне. Именно поэтому Россия нашла в себе силу выбраться из ее кровавой трясины и нанести смертельный удар классу, повинному в ней.

Интернационализм, уважение к другим народам уходят своими корнями в глубь отечественной истории. Об этом мы уже говорили выше. Вычленим только некоторые детали.

* * *

...Вспоминая о 1914 годе, С. М. Буденный пишет: «Я попал в третий взвод, которым командовал поручик Кучук Улагай, по национальности карачаевец. Командиром эскадрона был кабардинский князь ротмистр Крым Шамзалов-Соколов. Полком командовал полковник Гревс, а дивизией — генерал-лейтенант Шарпантье» (25). А все вместе эти улагай, крым шамзаловы, гревсы и шарпантье во главе с царем составляли «благородное сословие» российского дворянства. Символично то, что Николай II уже после опубликования манифеста об отречении получил телеграммы с выражением безусловной верности от генерала Иванова, генерала графа Келлера и генерала хана Нахичеванского. В течение веков воспитывалась политическая монолитность разнородного в смысле национального происхождения правящего класса России. «Благородное сословие» российского дворянства при всем разнообразии «кровей», слившихся в нем, всегда выступало как дисциплинированная сплоченная сила и против внешних врагов Российской империи, и против «внутреннего» классового врага в ходе подавления восстаний Болотникова, Булавина, Разина, Пугачева.

Обратной стороной такого единства была никогда в ином государстве не виданная сплоченность трудящихся и угнетенных многонациональных масс России вокруг русского ядра в ходе крестьянских войн. «От великого донского и яицкого войска, от Степана Тимофеевича» послания направлялись башкирам и калмыкам, «русским людям и татарам, чувашам и мордве. Стоять бы вам, черне, русские люди и татарови и чуваша, за дом пресвятые богородицы и за всех святых...» (26) Татары-мусульмане, язычники — мордва и чуваша, калмыки-буддисты не смущались такой формой обращения, понимали суть дела и шли толпами к Разину. «Прелестные грамоты» удалого атамана, написанные на разных языках интернациональным окружением, доходили до Карелии и Риги, до Персии и Хивы.

«Нет ни одного народа на земном шаре, который столь добросердечно относился бы к чужеземцу, как русские мужики. Они мирно живут бок о бок с сотнями народностей, различных по расе и религии, — татарами», (27) — замечает С. М. Степняк-Кравчинский, писавший в последней четверти XIX века. Русского крестьянина, потом и

кровью которого строилась Российская держава, не спрашивали, какими должны быть в ней отношения между народами. Но едва ему удавалось развязать руки и вытолкнуть кляп изо рта, как он сам недвусмысленно высказывал свой взгляд на предмет: «Волю всем народам!» Так он говорил при Разине и Пугачеве, так сказал и в 1917 году.

В мае 1917 года в Петрограде созывается I Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Крестьяне еще идут за эсерами, еще занимают «оборонческую» позицию в вопросе о войне, еще согласны ждать Учредительного собрания, чтобы из его рук получить землю, еще поддерживают Временное правительство, якобы «революционное», но свои отношения к другим народам как внутри России, так и вне ее, они, подобно русским пролетариям, собираются строить «на человеческом принципе равенства». Комментируя решения съезда по национальному вопросу, В. И. Ленин говорил с трибуны I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: «Нет, мы не так понимаем мир «без аннексий». И тут ближе подходит к истине даже Крестьянский съезд, который говорит о «федеративной» республике и тем выражает мысль, что русская республика ни одного народа ни по-новому, ни по-старому угнетать не хочет, ни с одним народом, ни с Финляндией, ни с Украиной, к которым так придирается военный министр, с которыми создаются конфликты непозволительные и недопустимые, не хочет жить на началах насилия. Мы хотим единой и нераздельной республики российской с твердой властью, но твердая власть дается добровольным согласием народов» (28).

За полвека до появления ленинской работы «О праве наций на самоопределение» А. И. Герцен высказывал по польскому вопросу, по сути дела, ее идеи:

«Польша, как Италия, как Венгрия, имеет неотъемлемое, полное право на государственное существование, независимое от России. Желаем ли мы, чтобы свободная Польша отторглась от свободной России, — это другой вопрос. Нет, мы этого не желаем, и можно ли этого желать в то время, как исключительные национальности, как международные вражды составляют одну из главных плотин, удерживающих общечеловеческое свободное развитие?... Россия не имеет прав на Польшу, она должна заслужить то, что взяла насильно; она должна загладить то, что сделали ее руками, и если Польша не хочет этого союза, мы можем об этом скорбеть, можем не соглашаться с ней, но не предоставить ей воли мы не можем, не отрекаясь от всех основных убеждений наших... (29). Что касается до главного вопроса, до самобытности Польши, он решен самим языком; ни один русский крестьянин не считает Польшу Россией. Вся Русь говорит: «в Польшу», «из Польши» (30).

Стоит сделать один только шаг от позиции демократа Герцена по частному национальному вопросу к теоретическому обобщению, к нахождению общего правила, регулирующего справедливые, человеческие отношения между нациями, как мы тут же приходим к ленинскому принципу права наций на самоопределение вплоть до отделения. Не формулируя этот принцип в явном виде, Герцен фактически стоял на нем в споре с польскими демократами, требовавшими восстановления Речи Посполитой в ее прежних границах, которые охватывали значительную часть Украины: «Но скажите, что же мы за наследники венского конгресса, что будем расписываться, какая полоса земли куда принадлежит, не спросив людей, на ней живущих... Ну, если после всех наших рассуждений Украина... не захочет быть ни польской, ни русской? По-моему, вопрос разрешается очень просто. Украину следует в таком случае признать свободной и независимой страной. У нас, людей изгнания, печальных свидетелей стольких неудачных сочетаний и распадений, не может, не должно быть и речи о том, кому должна принадлежать та или другая часть населенной земли... Вот почему я так высоко ценю федерализм. Федеральные части связаны общим делом, и никто никому не принадлежит...» (31)

Это было больше, чем только личное убеждение замечательного русского публициста. Это был голос самого русского народа, впервые раздавшийся в неподцензурной печати. Крестьянский съезд в мае семнадцатого лишь повторил то же самое: «Свободная Российская федерация для всех народов, желающих на основе равенства жить вместе с русским».

Национальные, патриотические чувства народа прошли тяжкие испытания уже в первый год Советской власти, в период Брестского мира, столь же позорного, сколь и необходимого для страны. «Патриотизм — одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств. К числу особенно больших, можно сказать, исключительных трудностей нашей пролетарской революции, — писал В. И. Ленин, — принадлежало то обстоятельство, что ей пришлось пройти полосу самого резкого расхождения с патриотизмом, полосу Брестского мира. Горечь, озлобление, бешеное негодование, вызванные этим миром, понятны...» (32) Крестьянин-середняк, узнав о «похабном мире», заключенном большевиками, качнулся в сторону контрреволюции.

Но почему никакой горечи, никакого озлобления, никакого кровавого тумана в глазах не вызвала среди народа национальная политика большевиков? Они признали отделение от России Финляндии, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Закавказья. Они предоставили автономию народам Поволжья, поставив тем самым русское население края в положение национального меньшинства. Они уничтожили последовательно и бескомпромиссно все и всяческие формальные и фактические привилегии великороссов по отношению к бывшим «инородцам». Все это нисколько не задело за живое русский народ вообще и русское крестьянство в частности: за этим стоял народный исторический опыт.

Конечно, было бы ошибкой выводить полностью интернационализм русского рабочего из демократического духовного наследия, завещанного ему русским мужиком, игнорируя при этом то существенно новое, что внесло в его отношение к другим народам его новое экономическое и политическое бытие. Однако и забывать о нем, об этом наследии, было бы неверно.

В феврале 1913 года В. И. Ленин из Кракова писал А. М. Горькому:

«У нас и на Кавказе с.-д. грузины+армяне+татары+русские работали *вместе*, в *единой* с.-д. организации *больше десяти лет*. Это не фраза, а пролетарское решение вопроса. Единственное решение. Так было и в Риге: русские+латыши+литовцы; отделялись *лишь сепаратисты* — Бунд.

...Нет, той мерзости, что в Австрии, у нас *не будет*. Не пустим! Да и нашего брата, великорусов, здесь побольше. С рабочими не пустим «австрийского духа» (33).

Именно великорусские рабочие стали по преимуществу носителями духа интернационализма как в самой коренной России, так и на Кавказе, в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Прибалтике, Польше, сплотив многонациональный рабочий класс России в единый могучий российский пролетариат. И это относится далеко не только к передовым рабочим, рабочим-партийцам, но ко всему классу в целом. «В общем и целом рабочий класс России оказался иммунизированным в отношении шовинизма» (34), — писал Ленин в 1915 году, то есть тогда, когда шовинизм почти безраздельно царил в Западной Европе, в европейском рабочем движении.

Огромная заслуга в процессе этой «иммунизации» принадлежит партии большевиков, неустанно воспитывавшей русский пролетариат в духе пролетарского интернационализма. Ведь только в России из всех многонациональных государств и колониальных империй социал-демократия ясно и недвусмысленно в партийной программе провозгласила право наций на самоопределение вплоть до отделения от «своей» великой державы. Только в России она объявила себя не «русской», но «российской», то есть выражающей интересы не только русского, но всего многонационального пролетариата страны. Только в российской социал-демократии до империалистической войны национализм как «великой», так и «малых» наций был окончательно разоблачен как одна из форм оппортунизма, идейного подчинения пролетариата буржуазному влиянию.

Обыкновенный, «средний» русский рабочий занял здоровую интернационалистскую позицию в вопросе о войне и мире именно потому, что он уже стоял на ней в своем отношении к нерусским рабочим и вообще к нерусским народам здесь, в России. Русская буржуазия, как и всякая другая «великой нации», пыталась создать себе социальную опору в «своем» рабочем классе, выделяя в нем высокооплачиваемый слой «аристократии» (35). Она пыталась воспитать этот слой в духе великодержавия. Казалось бы, наибольший успех такая политика сулила в Туркестане и в Маньчжурии (на КВЖД), где русские рабочие, подобно английским в Индии или французским в Алжире, были поставлены на недостижимый для неквалифицированных «туземных» рабочих социальный уровень в смысле престижа и оплаты. И каков результат?

Первая же волна революции 1905 года обнажила ту истину, что этот поставленный в привилегированное положение отряд русского рабочего класса, оторванный территориально от своей «армии», растянувшейся в цепь ремонтных мастерских на тысячи верст вдоль полотна железной дороги, встал не на поддержку «своей» колониальной администрации, а против нее плечом к плечу со своими иноплеменными братьями по классу. «Вот идет мусульмане резать всех французов», — говорил эмиссар Версала, обращаясь к французским рабочим в Алжире; и Алжирская коммуна пала. «Вот мусульмане собираются резать всех русских», — распространялись слухи среди русского населения царскими жандармами (36), а русские рабочие вовлекают в революционную борьбу сначала пролетариат из коренного населения, а затем готовят из его рядов агитаторов и шлют их в аулы и кишлаки. «Распространяющаяся деятельность революционных партий проникла в последнее время и в киргизскую степь», — сообщает в циркулярном письме сырдарьинский военный губернатор (37). Еще до этого в другом документе такого же рода говорилось: «До сведения начальника области (Закаспийской. — *Ф. Н.*) стали доходить слухи о том, что наши так называемые революционеры пытаются завязать сношения с местным туземным населением области с целью возбуждения его против русского правительства и властей...» (38). «Так называемые революционеры» — это русские пролетарии, не побоявшиеся поднимать угнетенные народы против русского правительства и русских колониальных властей. В сентябре 1917 года питерские рабочие останавливают на подходе к столице «дикую дивизию» корниловца генерала Крымова и, несмотря на языковой барьер, находят способ разъяснить ее солдатам, туркменам и кавказским горцам, что они обмануты, что у всех трудящихся, русских и мусульман, один враг и что на него, и только на него должна быть поднята сабля джигита. В Октябре эти рабочие держат свое слово и, взяв власть, дают свободу всем народам России,

Внешняя политика есть продолжение внутренней. Отношение русских рабочих и трудового крестьянства к другим народам внутри России имело, несомненно, политический характер, поскольку было связано с вопросом о власти. То же отношение, продолженное вовне, означало отказ от аннексий. «Масса населения, — пишет В. И. Ленин в апреле 1917 года, — состоит из пролетариев, полупролетариев и беднейших крестьян. *Это огромное большинство народа* (выделено мной. — *Ф. Н.*). Эти классы в аннексиях действительно не заинтересованы...» (39) «Солдаты — это пролетарии и крестьяне... Есть у них интерес завоевать Константинополь? Нет, их классовые интересы против войны! Вот почему их можно просветить, переубедить» (40).

Вспомним, была ли популярна в русском народе и вызвала ли в нем подъем расизма война с Японией, открыто ведшаяся под флагом колониальной экспансии, под лозунгом создания «Желтороссии» на Дальнем Востоке? Нет, не была популярна и не вызвала никакого «народного подъема», если не считать, конечно, революции 1905 года, которая была направлена против виновников этой войны. А вот мутная волна джингоизма, поднятая в Британии войной с бурами, захлестнула не только «средний класс», не только мелкую буржуазию, но и английский пролетариат. Русские крестьяне в 1914 году охотно пошли в окопы империалистической войны, поверив в то, что идут на помощь братской Сербии, точно так же, как в 1877—1878 годах шли выручать из беды братьев болгар. Много крови было пролито, прежде чем стали догадываться, что дело не в Сербии, но истинные цели войны, то есть захват и грабеж чужих земель или сохранение «своих» колоний, с самого начала были чужды не только русским рабочим, но и крестьянам. Это либералы вроде профессора Н.С. Трубецкого называли святой Софию

«той евангельской жемчужиной, ради которой Россия должна быть готова отдать все, что имеет» (41). Это капиталисты вроде Гучкова и Коновалова, прекрасно понимая, что верные союзники не дадут дотянуться до «жемчужины», тем не менее щедро отдавали за нее «все, что Россия имела», то есть прежде всего миллионы и миллионы человеческих жизней. Но русским крестьянам такие драгоценности были не к лицу. Их призывали сбросить полумесяц и подружить крест над Царьградом, но дух крестовых походов никогда не был их духом. На протяжении столетий «православные» спокойно взирали на полумесяц над Казанью, не испытывая никакой потребности в замене, — с чего бы им идти с такой целью за море?

Просветить, переубедить русских солдат оказалось, как известно, легче, чем германских, английских, французских, хотя и они в большинстве своем были, как и русские, рабочими и крестьянами, хотя и их классовые интересы объективно были против войны. Почему? Да потому, что объективные классовые интересы отражаются в субъективном классовом сознании отнюдь не зеркально. Осознание своих существенных, истинных интересов, без которого невозможно превращение «класса в себе» в «класс для себя», неизбежно происходит через систему психологических установок, данных предыдущим историческим опытом. Причем враждебный класс (в данном случае буржуазия) искусно использует уже имеющиеся в сознании своих классовых антагонистов установки, предрассудки, шаблоны мышления в духовном порабощении трудовых масс. Главной идейной и психологической основой буржуазной диктатуры в сознании западноевропейских рабочих и крестьян был широкий, поистине массовый шовинизм, сводящийся в конечном счете к психологическому комплексу «народа-господина». Но для русского трудового народа в целом этот комплекс всегда оставался чуждым и ненавистным, несмотря на сильно запоздавшие попытки правящих классов привить его и ему. В этом-то и состояло очень существенное различие.

Помимо него было еще одно (о чем мы уже писали): дух армии, отношение солдата к войне.

Франция, классическая страна рыцарства, продолжает его традиции в так называемых «войнах великолепия» (*Les guerres de magnificence*), где дает выход воинственному духу своего дворянства. Они не служат никакому национальному интересу, разоряют страну, но тем не менее, если только приносят лавры побед, популярны в ней: «благородное сословие» успеваешь развратить и простой народ своей «любовью к славе», своим увлечением игрока, своим восторгом победами ради побед, безразлично над кем. Без столь солидной исторической подготовки наполеоновская эпопея была бы немислима: «маленький капрал» увлекает за собой за Альпы и Пиренеи, в африканские пустыни, в русские снега крестьянских сынов, не давая им ровно ничего взамен, кроме славы... и, несмотря на конечное поражение, несмотря на бесплодность всех своих побед, становится после смерти кумиром французского крестьянства. Луи Наполеон идет по стопам своего дяди: мексиканская авантюра, поход на Рим, Крымская кампания, война с Австрией — к чему все это Франции? Такой вопрос не принято там было задавать. Поставить его — значило поставить под вопрос свою личную храбрость, а «народ храбрецов» (*Le peuple des braves*) этого боялся больше всего.

Англия, напротив, вела свои войны холодно и трезво. Она смотрела на них как на коммерческие предприятия, начиная со Столетней войны. Дух меркантилизма в равной степени поддерживал природную стойкость и знатного барона, и простого наемного лучника в битвах при Креси и Азенкуре. Дух меркантилизма безраздельно господствует в английской армии на протяжении веков. С XIV столетия по 1915 год она остается наемной; английский солдат привык продавать себя по шиллингу в день.

Германия же начиная с XVI века служила Европе главным рынком наемников, где всякий желающий мог по сходной цене приобрести столько пушечного мяса, сколько было надобно. Продавали себя сами, давали продавать на вывоз своим владетельным князьям, целые армии продавали на корню, вроде прусской, которая стала при Фридрихе II шпагой Англии на континенте. Такие традиции и формировали боевой дух германского воинства. Поскребите сейчас западногерманского наемника, этого неперемного участника всех колониальных авантур второй половины XX века, и вы обнаружите хорошо знакомые зверские черты солдат Гитлера, Вильгельма, Фридриха, ландскнехтов Валленштейна.

Помимо общенациональных, эти специфически армейские традиции широко использовались империалистической буржуазией Британии, Германии, Франции для того, чтобы держать в окопах мировой войны своих рабочих и крестьян. В Италии, где у милитаризма не было сколь-либо глубоких исторических корней, удержать их не удалось, и первое же серьезное поражение (у Капоретто) сломало итальянскую армию и превратило ее в разбежавшиеся по домам толпы дезертиров. В других воюющих странах Запада парни в солдатских шинелях также в конце концов поняли, что их подло обманули. Ричард Олдингтон, английский писатель, вошедший в литературу из окопов империалистической войны, так позднее писал о герое своего романа: «Я бы хотел, чтобы он не подставлял себя под огонь пулемета за неделю до окончания пытки. Сколько лет он противостоял свиньям (британским)... Дурак! неужели он не понимал, что наш единственный долг — продержаться и разгромить свиней?» (42) Но этот праведный гнев оказался бессильным. Душевная опустошенность и безмерная усталость породили «потерянное поколение». «Прощай, оружие!» — стало его девизом.

В России не было потерянного поколения, а было поколение, свершившее Октябрьскую революцию.

И в этом выборе между империалистической войной и социалистической революцией (третьего дано не было) определенную роль сыграло и отношение русского солдата к войне вообще. Русский солдат воевал не из-за корысти и не ради славы. В его ранце в отличие от француза никогда не лежал маршальский жезл, а в кармане в отличие от англичанина и немца туго набитый кошелек. Война сулила ему только лишения, раны, увечья и смерть. Он не отказывался воевать, но ему нужно было верить в то, что сражается он за правое дело. (Вещь совершенно излишняя не только для наемника, продающего вместе со своей кровью и совестью, но и для рыцаря: кто в «божьем суде» победил, тот и прав, главное — победа и горе побежденным!) Когда Петр III затеял было свою «войну

великолепия» против Дании исключительно в угоду Фридриху II, он быстро оказался со свернутой шеей. Его супруга усвоила урок: когда Англия, не слишком довольная своими немецкими наемниками, пожелала закупить оптом русских солдат для ведения войны в североамериканских колониях, Екатерина II, постоянно нуждавшаяся в деньгах, все же отвергла заманчивую сделку. Она по-женски интуитивно, тонко чувствовала, где проходят действительные границы ее формально ничем не ограниченной власти, и никогда не переходила их. Она могла безнаказанно раздавать десятки тысяч крепостных своим фаворитам, но в отличие от какого-нибудь герцога Вюртембергского или Гессенского самодержица всероссийская не была властна продавать своих солдат иностранным государям.

То, на что не осмеливался царизм в зените могущества, он был вынужден силой мирового финансового капитала сделать на наклонной плоскости к своей могиле. Его «демократические» преемники — Львовы, Милюковы, Керенские и др. — продолжали идти по роковому пути. Вместе со своим французским собратом по масонскому ордену, тоже министром и тоже «социалистом» Альбером Тома, премьер Керенский в сопровождении блестящего эскорта в каком-то особо шикарном автомобиле под громадным государственным флагом отправился в турне по только что отведенным с фронта для отдыха и пополнения частям. Тома, приняв обычную для него позу народного трибуна, слегка завывая подобно корнелевским героям на сцене «Комеди франсэз», картинным жестом показывал на Запад русским солдатам, и те добродушно ему хлопали, не жалея ладоней, и кричали «Бис!» и «Браво!». Но когда председатель Временного правительства разъяснял им уже по-русски, что французские союзники призывают их перейти в наступление ради защиты свободы и демократии, то в ответ слышал: «Покажите нам сначала тайные договоры, мы хотим знать истинную цель войны!» Те, кого презрительно называли «серой скотинкой», доказали делом немного спустя, в Октябре, что они люди, и притом не такие уж серые. Их удалось просветить.

Из того факта, что русские не захотели воевать за Константинополь, англо-французские дипломаты и военные советники в России сделали вывод о том, что они вообще не способны больше воевать. В одном из документов, составленном французской военной миссией под начальством генерала Табуи, черным по белому было написано так: «Россию в настоящее время можно сравнить с такими дезорганизованными странами, как Судан и Конго, где нескольких дисциплинированных европейских батальонов вполне достаточно для водворения порядка и прекращения анархии» (43). В том же духе генерал Бертелло пишет специальный доклад для президента Франции, а затем отстаивает его основные тезисы в личной беседе. «Он полагает, — записывает Пуанкаре после встречи с Бертелло, — что пяти или шести тысяч союзных войск было бы достаточно, чтобы контролировать всю страну» (44). На основании таких и подобных данных вопрос о вооруженной интервенции в русские дела был решен положительно.

Итак, интервенция. Великий Октябрь принес миру не меч, но мир. В ответ на мирный вызов против него пошли с мечом. И не пять-шесть тысяч, а в десятки раз больше. Для Советской России наступил, как говорят испанцы, «час истины» — торжественный и грозный час испытания, когда уже неважно, чем человек или народ кажется, что о нем говорят и думают, что он сам говорит и думает о себе, когда спадают все обманчивые покровы видимости и он предстает тем, что он есть. В самой глубинной своей сути.

Посмотрим же, как эта сущность, сохранившая в себе прошлое бытие военной державы, проявила себя в решающие для судеб социализма годы.

Собственно говоря, ее могли бы разглядеть даже проповедники вооруженной интервенции, если бы захотели узнать истину. Однако все эти бесшабашные дипломаты вроде Бьюкенена, убеждавшего свое правительство в том, что большевики способны только на разрушение, на распространение анархии, на разложение, но не на строительство, не на дисциплину, не на созидание, все эти лихие генералы типа Нокса, Табуи, Бертелло, толкующие о нескольких карательных батальонах, — все они видели в России лишь то, что хотели видеть, и закрывали глаза на то, что их резало. Обратим же внимание на то, что в свое время непостижимым образом выпало из поля зрения дипломатов, генералов и правительств Антанты.

«Развал Балтийского флота» оставался дежурной темой русской буржуазной печати с февраля по октябрь 1917 года. Здесь, в Кронштадте и на кораблях, во время Февральской революции матросы вооруженной рукой расправлялись с реакционным офицерством. Здесь офицерский корпус в целом в отличие от остальной армии и Черноморского флота перестал быть политической силой. Здесь особенно быстро происходил рост большевистского влияния. И неслучайно: балтийцы — это в большинстве своем молодые рабочие, привычные к технике и потому после мобилизации направленные не в окопы, где с трехлинейкой и гранатой умело могли управиться и новобранцы из деревень, а на боевые корабли. Пролетарская по своему социальному происхождению матросская масса, имевшая уже навыки революционной борьбы, оказалась в императорском флоте лицом к лицу с высокомерной, застывшей в дворянско-крепостнических традициях офицерской кастой, которая также успела приобрести свои навыки — палаческие — в борьбе против революции. Отчужденность и враждебность между офицерской каяут-компанией и матросским кубриком были степенью выше, чем те, что разделяли офицерский блиндаж и солдатскую землянку на фронте. Концентрированная классовая ненависть и оказалась той взрывчаткой, что, по словам буржуазии и соглашателей с ней, «развалила» Балтфлот.

Но вот в начале октября со сторожевых миноносцев в главную русскую морскую базу в Гельсингфорсе летят радиogramмы о том, что весь германский флот вышел в открытое море. Предательство «патриота» Корнилова, мечтающего стать русским Бонапартом, отдало немцам Ригу. Ее сдача должна была создать атмосферу паники, благоприятствующую перевороту. Между тем как войска кайзера готовились к новому натиску по побережью Рижского залива — на этот раз к прыжку на Петроград, к той же цели легла на курс и германская эскадра, имевшая

подавляющее превосходство по числу боевых кораблей и огневой мощи над русским Балтийским флотом. Русские опирались, правда, на береговые батареи и на минные поля Моонзундского архипелага, но адмиралтейство в Берлине знало, что без активных действий флота удержать оборонительные линии им не удастся, а флот, по сообщению самих же русских газет, окончательно превратился в гнездо анархии. Еще 19 сентября Центробалт принял постановление о том, что Балтийский флот распоряжений Временного правительства не исполняет и власти его не признает. Но никакой анархии, никакой растерянности, никакого пораженчества теперь, когда речь шла о том, чтобы грудью своей прикрыть нарождающуюся Октябрьскую революцию, в Балтфлоте не было. Адмирал Развозов, которому Центробалт поручает командование боевыми действиями, спрашивает, будут ли его распоряжения выполняться беспрекословно, и получает ответ: «Ваш приказ в бою — закон. Тот, кто осмелится не исполнить боевого приказа... будет расстрелян» (45). И в самом деле, офицеры, верные воинскому долгу, обнаруживают в командах, вернувшихся на борт с берега как один человек, не только безусловное повиновение, но необычайное рвение в исполнении боевых приказов.

Восемь дней на штормящем море продолжалось Моонзундское сражение. Восемь ночей команды заделывали пробоины, чинили поврежденные механизмы, чтобы с рассветом вновь выйти на боевые позиции и встать насмерть против трижды (!) превосходящего по силам противника. Восемь дней и ночей русский Балтийский флот вел безнадежную, как казалось, борьбу. С самого начала он потерял поддержку береговых батарей: разложившиеся войска отказались сражаться с немецким десантом, высадившимся на островах Эзель и Даго. «Союзный» английский флот мирно стоял в своих хорошо защищенных гаванях. Временное правительство продолжало травлю балтийских моряков. В. И. Ленин так характеризовал политическую обстановку Моонзундской морской битвы: «Наступательные операции германского флота, при крайне странном полном бездействии английского флота и в связи с планом Временного правительства переселиться из Питера в Москву вызывают сильнейшее подозрение в том, что правительство Керенского (или, что все равно, стоящие за ним русские империалисты) составило заговор с англо-французскими империалистами об отдаче немцам Питера для подавления революции *таким* способом» (46).

Ради того чтобы сорвать этот заговор, сто русских кораблей изо дня в день и вели артиллерийскую дуэль с тремястами немецкими, тридцать русских аэропланов делали вылет за вылетом, имея против себя свыше сотни германских (47). Радиостанция Балтфлота бросает в эфир драматический призыв не к «союзным» флотам за помощью и не к правительству в Петрограде, но «К угнетенным всех стран»:

«Братья! В роковой час, когда звучит сигнал боя, сигнал смерти, мы возвышаем к вам свой голос, мы посылаем вам привет и предсмертное завещание. Атакованный превосходящими германскими силами наш флот гибнет в неравной борьбе. Ни одно из наших судов не уклонится от боя, ни один моряк не сойдет побежденным на сушу. Оклеветанный, заклейменный флот исполнит свой долг перед великой революцией... В час, когда волны Балтики окрашиваются кровью наших братьев, когда смыкаются темные воды над их трупами, мы возвышаем свой голос... Да здравствует всемирная революция! Да здравствует справедливый общий мир! Да здравствует социализм!» (48)

Это были не только слова. П. Е. Дыбенко, тогда председатель Центробалта, вспоминает: «Последней жертвой героической борьбы на подступах к Петрограду стал доблестный броненосец «Слава». Весь израненный, он медленно опускался в морскую пучину. Море уже собиралось скрыть в своих объятиях броненосец. Раздался последний выстрел с носовых башен; корабль содрогнулся в последний раз. Моряки, героически сражавшиеся до последней минуты и не хотевшие расстаться со своим гибнущим кораблем, постепенно в кипящих волнах уплывали к спасательным шлюпкам и миноносцам. Гордо развевавшийся на реях «Славы» красный стяг захлестнуло волной» (49).

До конца не был спущен красный флаг и на эсминце «Гром», потерявшем в ходе боя управляемость и боеспособность. Его команда перешла на канонерку «Храбрый». На палубе изувеченного миноносца остался по собственному желанию лишь матрос Самончук, и, когда стало ясно, что не русские, а немцы возьмут судно на буксир, он бросил в пороховой погреб горящий факел (50).

...Мы до конца не спустили
Славный Андреевский флаг.
Сами взорвали «Корейца»,
Нами потоплен «Варяг»!

Отныне и впредь над Красным флотом будет реять не Андреевский флаг, но отношение к своему флагу, символу воинской чести, останется таким, каким его выработала двухвековая морская история России. За подвигом «Славы» и «Варяга», «Грома» и «Корейца» стоит высокое понимание воинского долга. «Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпелы и марсели...» — петровский завет, передававшийся из поколения в поколение русских моряков, теперь служил делу революции.

Германский флот, потерявший при прорыве первой оборонительной линии свыше тридцати боевых кораблей, не решился штурмовать вторую, закрывавшую вход в Финский залив. Гроза над Балтикой затихла, и сквозь тучи орудийного дыма на востоке, над Питером, возшла красная заря Октября. Большая часть русского флота оставалась на боевых позициях, готовая к отражению новой немецкой атаки. Эскадра особого назначения со сводным — ото всех экипажей — десантным отрядом в 4500 человек на борту взяла курс на столицу. Моонзундское сражение стало прологом к взятию Зимнего.

В другом отношении этот пролог — эпилог. Эпилог, ибо в нем окончательно слились воедино две могущественные традиции русской истории — революционная и боевая. Выше было показано, что и для одной и для другой взаимосвязанных линий преемственности характерна абсолютизация долга, то есть категоричное

требование его безусловного выполнения, требование, не смягчаемое никакими объективными обстоятельствами: как бы ни был неравен бой, нет извинений для уклонившихся от него; то, что борьба безнадежна, не служит оправданием капитуляции; бессмысленность сопротивления еще не причина для того, чтобы его не довести до конца. В Моонзундском сражении и то, и другое, и третье было налицо. В словах посланной из Гельсингфорса радиограммы о том, что русский Балтийский флот гибнет, не было и грани преувеличения.

Балтийский флот погибал, но, странное дело, в нем совсем не было видно моральных симптомов поражения. Команды поврежденных судов, отведенных в Ревель из Гельсингфорса для ремонта, работали по ночам с остервенением, как будто дело шло о спасении их жизнью. И это для того, чтобы не пропустить поутру очередного свидания со смертью. Вся русская армия бежала с фронтов, рассыпаясь по деревням, но здесь дезертиров не было! Не было, ибо «бессмысленное сопротивление» имело здесь свой высокий смысл. Когда уже замолкли пушки, адмирал Развозов заявил: «Я не верил до этих дней в боеспособность флота. Теперь я преклоняюсь перед геройством флота и знаю, что новый немецкий поход нам не страшен, — мы сумеем отстоять честь России» (51).

Именно здесь, в Балтийском флоте, цитадели большевизма, накануне Великого Октября впервые за много веков было найдено решение и коренного противоречия между патриотизмом, верностью русского народа *своему* национальному государству, и классовой чуждостью, даже прямой враждебностью того же государства к чаяниям народных масс. Теперь, в Моонзундском сражении, матросы не только грудью стояли за честь России (как это было и всегда), теперь они под руководством большевиков защищали Петроград, колыбель Советского государства, которое станет выразителем их национальных и классовых интересов одновременно. Соединение классового сознания с патриотизмом и дало тот результат, о котором с гордостью говорил старый адмирал.

Если бы иностранные послы и главы военных миссий, в силу своих служебных обязанностей следившие, конечно, за ходом Моонзундского сражения, дали себе к тому же труд еще и анализировать его политический смысл, то, наверное, не стали бы так спешить с живописанием радужных перспектив вооруженного вмешательства держав Антанты в русские дела.

Они могли бы, например, констатировать, что процесс разложения, уже приведший к распаду старой армии, остановился там, где была сосредоточена компактная масса вооруженного пролетариата в морских бушлатах. Совсем нетрудно было предположить, что обратный процесс, процесс возрождения и обновления России, начнется оттуда же. Все, за что ни хваталось в последних попытках спасения буржуазное правительство, фатальным образом оказалось гнилым и трухлявым — вокруг. Смольного стояли поистине железные батальоны пролетариата. Те, кто за броневиком с винтовкой наперевес бежал к Зимнему — безразлично, был ли он в бушлате, солдатской шинели или в гражданском платье красногвардейца, — готовы были отдать за социализм всю кровь и жизнь свою без колебаний, как это делали их братья по классу в Моонзунде. И кого же эти грозные бойцы, действительно прошедшие сквозь огонь и воды, видят перед собой за баррикадами дворца? Трясущийся от ужаса женский батальон да бледных от страха мальчишек в юнкерских шинелях. Это все, на что сумела опереться буржуазия в решающий для ее судеб час. Подобно гнилому плоду, падающему при первом порыве ветра, Временное правительство выпало из министерских кресел от одного холостого выстрела «Авроры». Штурм Зимнего дворца революционными отрядами довершил падение власти буржуазии.

Пролетариат при капитализме не имеет отечества, но, захватывая власть, он его обретает и, опираясь на патриотизм широких непролетарских масс, защищает это обретенное им социалистическое Отечество. Непролетарские слои переносят, конечно, ударение с первого слова на второе. Им дорог пока не социализм, а по-прежнему Отечество. Но когда «Социалистическое Отечество — в опасности!», такое различие не играет роли.

В условиях иностранной вооруженной интервенции и гражданской войны для судеб социализма, помимо революционной энергии рабочих, огромное значение приобрел характер исторического воспитания всего народа, степень его патриотичности. Сословные интересы офицерского корпуса, безусловно, были тесно связаны с эксплуататорскими интересами помещиков и буржуазии и толкали его целиком и полностью в лагерь контрреволюции. События, однако, показали картину, весьма отличную от той, что можно было бы нарисовать на основании априорного социологического анализа. Далеко не все и даже не большая часть русского офицерства стала белой. В статье «Все на борьбу с Деникиным!» В. И. Ленин отмечал: «Нам изменяют и будут изменять сотни и сотни военспецов, мы будем их вылавливать и расстреливать, но у нас работают систематически и подолгу тысячи и десятки тысяч военспецов, без коих не могла бы создаться та Красная Армия, которая выросла из проклятой памяти партизанщины и сумела одержать блестящие победы на востоке» (52). Разумеется, добрая воля бывших царских офицеров, призванных по мобилизации в ряды Красной Армии, могла быть поставлена под вопрос, но вот что мы читаем в воспоминаниях одного из командиров партизанской армии, боровшейся против колчаковщины в Восточной Сибири: «Чтобы бить врага и побеждать его малой кровью, партизанские отряды Сибири должны были иметь самое современное оружие и пользоваться современной наукой побеждать. И это они имели: их старшими командирами были опытные офицеры царской армии, ставшие на сторону революции, а оружие добывалось в боях» (53). Командный состав народно-революционной армии ДВР, действовавший под политическим руководством коммунистов, также в большинстве своем состоял из старых кадровых офицеров.

Опыт морских боев на Балтике с 29 сентября по 6 октября семнадцатого года давал внимательному наблюдателю достаточный материал для того, чтобы предугадать поведение офицерства в масштабе всей страны в ближайшие по крайней мере годы. Именно во флоте, вспомним это, классовые противоречия достигали пика своей остроты, поэтому-то процесс разложения старых порядков, старой дисциплины, старой структуры власти протекал там более стремительно, бурно, сопровождаясь более мощными взрывами, и быстрее завершился, чем тот же процесс, разрывавший сухопутные части. Во флоте раньше, чем в армии, были изжиты розовые иллюзии мелкобуржуазной демократии, раньше была проведена непримиримая грань между белым и красным цветом.

В июльские дни в Ревеле «их благородия» были готовы выполнить секретный приказ Временного правительства о потоплении большевистских кораблей. Но именно потому, что столь цинично-резко был здесь поставлен выбор между эгоистическим классовым и общенациональным интересом, политическое размежевание среди морского офицерства к концу сентября было уже полным.

Многие бежали из-под власти Центробалта и от «засилья матросни». Но для тех, кто остался (а их было не так мало), слова старого адмирала о готовности любой ценой защитить честь России выражали смысл жизни. И они поднимались в капитанскую рубку, чтобы под контролем комиссара Центробалта вести корабль на смертный бой в защиту революционного Петрограда. Их выбор был сделан: живыми или мертвыми, они навсегда останутся со своим народом. Разве трудно было понять тогда, в октябре 1917 года, что эти же старорежимные офицеры будут без малейших колебаний топить и английские суда, если те осмелятся войти в воды Финского залива, как это и произошло в 1919 году? А приняв во внимание, что офицерский корпус в целом был более разночинным по социальным корням и менее проникнут аристократическим кастовым духом, чем во флоте, можно было бы и предположить, что армия пролетарской диктатуры не останется без военных специалистов, работающих не за страх, а за совесть.



В феврале 1918 года едва рожденная Красная Армия воспроизвела на более широкой основе то, что показал Балтийский флот в Моонзундском сражении: чисто пролетарский состав боевого ядра (первыми красноармейцами были питерские рабочие и балтийские матросы, младшие братья и сыновья тех же рабочих), военное руководство в

руках бывших царских генералов и офицеров, высшее политическое осуществляется институтом комиссаров, и главное — тот же боевой дух. «Убеждение в справедливости войны, сознание необходимости пожертвовать своей жизнью для блага своих братьев поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслыханные тяжести. Царские генералы говорят, что наши красноармейцы переносят такие тяготы, какие никогда не вынесла бы армия царского строя» (54) — эти слова В. И. Ленина по справедливости могут быть отнесены к участникам уже первых боев Красной Армии под Нарвой.

Здесь проявилась с особой отчетливостью закономерность, общая для всех революционных эпох: чем более решителен и полон разрыв с *проклятым прошлым*, тем более народ получает возможность в борьбе за светлое будущее опереться на свое *славное прошлое*. Боевые традиции России, военной державы, приплыли как нельзя более кстати и Советской России, в лице Красной Армии возродилась на новой классовой основе великая русская армия.

Решающие свои победы над интервентами и белогвардейцами Красная Армия одержит, однако, только тогда, когда, расширив первоначальную социальную базу, превратится из чисто пролетарской в рабоче-крестьянскую, то есть в массовую армию всего народа. Но, для того чтобы такое превращение произошло, необходимо было, чтобы крестьянин-середняк пожелал сражаться в ее рядах. Принудительная мобилизация сама по себе еще ничего не решала. Белые генералы также проводили ее на огромных территориях, да только белая гвардия, превратившись в армию, неизменно теряла после этого высокие боевые качества, которыми, вообще говоря, отличались добровольческие части. Боеспособность же Красной Армии по мере ее численного роста возрастала. В нее после некоторых колебаний крестьянин-призывник пошел с охотой, и, когда российское крестьянство весь свой огромный вес бросило на левую чашу весов, исход гражданской войны был предрешен в пользу красных.

Вообще говоря, колебание крестьянина между диктатурой пролетариата и диктатурой буржуазии обуславливается двойственной его природой — труженика и собственника. Говоря же конкретно о русском крестьянстве эпохи великой революции и гражданской войны, нужно к этим повсеместно действующим причинам прибавить еще и местные, национальные. Анализируя причины «наибольшего успеха контрреволюционных движений, восстаний, организации сил контрреволюции» весной — летом 1918 года в широкой территориальной полосе, протянувшейся от Волги до Тихого океана, В. И. Ленин отмечал:

«Колебания мелкобуржуазного населения там, где меньше всего влияние пролетариата, обнаружались в этих районах с особенной яркостью:

сначала — за большевиков, когда они дали землю и демобилизованные солдаты принесли весть о мире. Потом — против большевиков, когда они, в интересах интернационального развития революции и сохранения ее очага в России, пошли на Брестский мир, «оскорбив» самые глубокие мелкобуржуазные чувства, патриотические. Диктатура пролетариата не понравилась крестьянам особенно там, где больше всего излишков хлеба, когда большевики показали, что будут строго и властно добиваться передачи этих излишков государству по твердым ценам... *В последнем счете именно эти колебания крестьянства, как главного представителя мелкобуржуазной массы трудящихся, решали судьбу Советской власти...* (выделено мной. — Ф. Н.)» (55).

Несомненно, существовала материальная заинтересованность, привязывающая крестьянство к белым режимам особенно там, где помещичье землевладение не получило в прошлом развития. В. И. Ленин указывал: «Колчак держится тем, что, взявши богатую хлебом местность, — называется ли он Колчак или Деникин, мундиры разные, сущность одна, — он там разрешает свободу торговли хлебом и *свободу восстановления капитализма*» (56). «...Свободная торговля хлебом есть экономическая программа колчаковцев, расстрел десятков тысяч рабочих (как в Финляндии) есть необходимое средство для осуществления этой программы, потому что рабочий не отдаст даром тех завоеваний, которые он приобрел» (57).

Ни при одном белом режиме не ставились преграды спекуляции хлебом: она была только по рабочим, а крупная буржуазия была достаточно богата, чтобы уплатить временную дань мелкой и тем купить ее. Но почему в таком случае союз буржуазии с крестьянством в отличие от Франции 1871 года оказался здесь столь хрупким, что первый же порыв ветра сорвал и увлек с собою фиговый лист со «свободой, равенством и братством», и буржуазная диктатура, представ перед Россией во всем своем препохабии, принялась пороть и расстреливать не только рабочих, но и мужиков? Какая черная кошка пробежала между ними? По сю сторону Урала, положим, все было ясно: дворяне, составлявшие основной костяк Добровольческой армии, восстанавливали по мере ее продвижения вперед помещичье землевладение и тем отбрасывали крестьянство в лагерь красных. Ну а по ту сторону Уральского хребта?

«Мы знаем, — писал В. И. Ленин, — что там живут зажиточные крестьяне, которые не знали крепостного права, которые поэтому не могут быть благодарны большевикам за избавление от помещиков. Мы знаем, что там организовано было правительство и для начала туда были посланы прекрасные знамена, которые изготовляли эсер Чернов или меньшевик Майский, и на них были лозунги — Учредительное собрание, свобода торговли — чего хочешь, серый мужичок, все тебе напишем, только помоги свалить большевиков!» (58)

Что же произошло там, в Сибири и на Дальнем Востоке? Ведь Колчак и не помышлял посягнуть на крестьянскую землю, а крестьяне под рукой «верховного правителя России» могли власть наслаждаться свободой торговли. А из всей этой белой идиллии вышло вот что: крестьянская война под руководством пролетариата против белых и истребительная война белых карателей против этого зажиточного крестьянства.

Для того чтобы постичь столь неожиданный поворот событий, сосредоточим временно наше внимание на одном из тех богатых торговых сел, которые в силу экономических факторов могли бы стать опорой белой власти, да так и не стали.

Казанка — одно из первых поселений в Сучанской долине среди девственной Уссурийской тайги. Ее «отцы-

основатели», чтобы выжить и вырвать под пашню землю из-под вековых сосен, кедров и лиственниц, должны были сплотиться в крепкую и дружную земледельческую общину. Она очень скоро разрослась в большое и богатое село, ставшее опорным пунктом в дальнейшей колонизации края. «Стодесятинники»-казанковцы, получившие надел по 100 десятин на мужскую душу, сдавали мягкую землю в аренду новожилам из соседней деревни Хмельницкой, пока те не поднимут целину, китайцам и корейцам, не имевшим российского подданства, а следовательно, и права на землю. «Не менее половины своих земель казанковцы сдавали в аренду корейцам и получали от них столько хлеба, что им можно было прокормить не только жителей деревни, но и скот. Многие крестьяне сами не обрабатывали землю и жили исключительно за счет аренды» (59), — свидетельствуют руководители партизанского движения в Сучанской долине Н. К. Ильюхов и И. П. Самусенко.

При таком положении дел Октябрьская революция большого восторга в Казанке вызвать не могла. Радовались, конечно, возвращению фронтовиков по домам, но требование Советов сдавать хлеб на ссыпные пункты по твердым ценам раздражало, а слухи о готовящемся переделе пахотной земли и прочих угодий тревожили. И худшие опасения казанковских справных мужиков подтвердились. В апреле 1918 года IV Дальневосточный съезд Советов вынес решение об общем переделе земель казаков и «стодесятинников», причем в пользу, не только русских «долеви́ков» (имевших по 15 десятин на едока), но также корейцев и китайцев. В газете так черным по белому и было напечатано: «...9. Все население иностранное (корейское и китайское) имеет право на землю и получает наделы распоряжением сельских и волостных земельных комитетов» (60). Старожилам это казалось чудовищной несправедливостью: дескать, много их, дармоедов, охочих до чужой мягкой земли; пусть лучше поднимут твердую — порасчистят тайгу да повыкорчевывают пни своими руками, как это делали сами казанковцы и их отцы.

Казанка колебалась. Она не примыкала к контрреволюционным мятежам, но и не посылала в отличие от соседей — сучанских шахтеров и деревень «долеви́ков» — своих мужиков в Красную Армию для их подавления. Она следила за событиями, а события развертывались стремительно. В апреле на причалах Владивостокского порта промаршировали первые роты японских интервентов. В мае поднял антисоветское восстание чехословацкий корпус, растянувшийся своими эшелонами вдоль всей Сибирской железной дороги от Волги до Тихого океана. В течение июня, июля и августа продолжалась отчаянная борьба дальневосточной Красной гвардии, плохо вооруженной и насчитывавшей в своих рядах не более 16 тысяч штыков и сабель, против напавшей стрех фронтов 150-тысячной регулярной армии интервентов и белоказачьих банд. В сентябре ее сопротивление было сломлено окончательно, и Советская власть на всем Дальнем Востоке пала. Странников Советов всюду, куда доставал штык заокеанских «освободителей России» и казачья шашка, кололи, рубили, расстреливали партиями, вешали, топили в Амуре, увозили в пыточных «поездах смерти», морили голодом в концлагерях.

Ни о каком переделе земель не было уже и речи, свобода торговли и частной инициативы воцарилась полная.

Довольна ли осталась Казанка таким оборотом, что, не пролив еще сама ни капли крови за белое дело, получила возможность спокойно пожинать его плоды? Она очень даже умела и любила торговать, умела и любила считать и пересчитывать денежки, ее сытые крестьяне по своей хозяйственной сметке и хватке больше походили на свободных американских фермеров, чем на своих забытых и нищих собратьев по классу в европейской России. Официальное издание «Азиатская Россия» (1914 г.) отмечает: «Дают понятие о зажиточности приамурских крестьян также и сведения сберегательных касс, указывающие, что в Амурской и Приморской областях сельское население является лучшим вкладчиком, чем в других губерниях и областях, несмотря на малое количество еще этих касс» (61). Вклады здесь делались и после сделок по поставкам хлеба (Владивосток рос быстрее, чем сельское население Приморья, его высокая потребность в зерне поддерживала постоянно соответствующий уровень цен, урожаи здесь были в среднем почти в два раза выше, чем в черноземных областях европейской России), и после расчетов за работу на лесозаготовках (строительный лес направлялся в Китай, Японию и Австралию), и после очередной продажи американским закупщикам партии беличьих и собольих шкур. Снимали деньги со сберегательных книжек главным образом для закупки у тех же американцев сельскохозяйственной техники — образованная американскими акционерами «Международная компания жатвенных машин в России» имела в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке более двухсот складов и магазинов (62).

Была, таким образом, некая материальная база для взаимопонимания между дальневосточным зажиточным крестьянством и генералом Гревсом, лично направленным сюда президентом США Вудро Вильсоном во главе экспедиционного корпуса. Вопрос состоял только в том, возобладаст ли сила притяжения американского доллара, прочность рыночных связей над национальными узами, поймут ли жители таких богатых торговых сел, как Казанка, язык взаимной выгоды.

Ответ не заставил себя долго ждать. 15 декабря 1918 года Казанка восстала. Поднялась под красным знаменем за власть Советов и увлекла за собой все окружающие деревни. С быстротой лесного пожара партизанское движение охватило долину Сучана, а потом и все Приморье.

Менее всего это выступление можно объяснить личной обидой или личной мстостью казанковцев. Боевые действия интервентов на Уссурийском фронте обошли Казанку стороной, и ни разу еще каратели не посещали ее — не было причины.

И совсем напрасно искать объяснения непосредственно в экономике. Обнищания масс, обычно предшествующего вооруженному восстанию народа, в Казанке заметно не было. Напротив, осенью 1918 года село очень выгодно продало урожай приезжим заготовителям. Не было оснований сомневаться в том, что процветание продлится и в ближайшем по крайней мере будущем. Чем же казанковцы остались недовольны?

Многим. Очень многим. Владивосток стал каким-то чужим от великого множества красивых иностранных мундиров. На рынке, правда, английские, американские, японские, французские, итальянские, чехословацкие

офицеры, а иногда и солдаты за каждую беличью и соболиную шкурку давали в два-три раза больше, чем обычные скупщики, но даже эта самоуверенная манера брать, не поторговавшись как следует, почему-то не нравилась. А тут еще рассказы соседей по прилавку о том, что на прошлой неделе американский матрос в порту застрелил русского мальчика, что несколько японцев на глазах у всех среди бела дня забили прикладами до смерти дряхлого старика корейца, что местные жители должны теперь, когда в трамвай входит иностранный военный, вставать и уступать ему место, что по селам, где располагаются японские гарнизоны, расклеены распоряжения комендатуры, предписывающие русским при встрече с японцем остановиться, снять шапку, поклониться и сказать «здравствуйте!», что радиостанция на Русском острове передана американцам, что склады казенного имущества перевозятся в Японию, что в Хабаровске ежедневно расстреливают десятками пленных красногвардейцев, что по ночам желтый поезд Калмыкова останавливается на мосту через Амур, и там личная охрана атамана кавказскими кинжалами и шашками рубит и сбрасывает в реку заключенных, которых устала пытаться, что... — да мало ли чего наслушаешься теперь в городе? Им-то, казанковцам, какое до всего этого дело? Их село стоит с краю, не его грабят, не в их малолеток стреляют, не их стариков избивают, не их жен и дочерей насилуют, не их сыновей берут на прогулку калмыковцы в свой поезд. А что до казенного имущества, то только дурак не урвет его, коль представится случай. Какая им до него печаль? Так-то оно так, да только ласковый шелест долларов и иен почему-то больше не веселил слух, и — что за наваждение! — все чаще представлялось мужичкам, что пересчитывают они не рубли, не доллары и не иены, а иудины сребреники.

...В тот памятный день, 15 декабря, казанковцы по приглашению Н. К. Ильюхова, учителя из соседней Хмельницкой, собрались на сход в своей школе. Они наперед, конечно, знали, о чем пойдет речь. В деревне тайны долго не удержатся: быстро становится известным, кто к кому ходит, даже если в сумерки и через зады, кто о чем при этом говорит, даже если бабы выпроваживаются из горницы. Так вот, было известно, что Ильюхов и еще трое хмельничан, к которым вскоре присоединились трое из деревни Серебряной, да два шахтера-сучанца из красногвардейцев, прятавшихся неподалеку в тайге, образовали «Комитет по подготовке революционного сопротивления контрреволюции и интервентам». Известно было также, что комитет за двумя исключениями состоит из унтер-офицеров старой армии и солдат-фронтовиков, а сам Ильюхов как бывший прапорщик, то есть старший по званию, назначен командующим всеми вооруженными силами. Люди все это были серьезные и пользовались всеобщим уважением.

Ильюхов в последнее время частенько наведывался в Казанку к местным фронтовикам, да и они, по делу и без дела бывая в Хмельницкой, не обходили его дом стороной. Об остальном легко можно было догадаться.

Так коммунистическая ячейка (Ильюхов и его товарищи были большевиками) исподволь, искусно и упорно расширяла свое влияние на село, подыскивая все новых и новых верных людей, и готовила его к восстанию.

Но почему именно Казанка была выбрана комитетом для своего выхода из подполья? Н. К. Ильюхов объясняет: «С казанковцами враждовали «долевики» деревень Хмельницкой, Бархатной и Серебряной. Тем не менее казанковцы ввиду своей зажиточности и относительно высокой общей культуры пользовались в округе несомненным влиянием» (63). О причинах антагонизма упоминалось выше: казанковцы по праву первооткрывателей заняли самые удобные земли и лучшие угодья; на каждого из них приходилась большая площадь пашни, чем на нескольких прибывших позднее «долевиков». Но в то же время это село в определенном смысле приходилось матерью всем окружающим ее деревням: новоприбывшие оставались под кровом старожилов и сидели с ними за их столом до тех пор, пока не обзаводились своим хозяйством и не пускали в небо первый дым из трубы нового дома. Богатая и культурная Казанка оставалась не только предметом зависти всей округи, но и образцом культуры быта и хозяйства, на который равнялись, и источником помощи, к которому еще не раз прибегали. Вот почему многое в Сучанской долине зависело от того, как поступит она.

Прибывших хмельничан и серебрянцев, членов комитета, встретили с почетом и усадили в президиум собрания — хороший знак! Местного богача, кулака Симонова, которого, вообще говоря, почитали на селе за хватку и ум, на этот раз выставили за дверь, чтобы не перечил. Здесь хорошо знали друг друга, знали, от кого чего можно ждать. Многое было продумано и обсуждено заранее — в долгие зимние вечера за самоваром при свете керосиновой лампы. Теперь решение каждого должно было совпасть с решением всех, воля «общества» всегда единодушна.

Дальше произошло то, что и ожидалось. На призыв подниматься на борьбу против интервентов и белогвардейцев, вспоминает Н. К. Ильюхов, «дед Казимиров встал, выпрямился и с видом, полным достоинства, без разрешения председателя обратился к собранию:

— Товарищи общество! Я своего Мишку отдам на войну. — Разыскав стариковскими глазами сына, продолжал: — Мишка! Записываю тебя в дружину. Слышишь ты меня? Бери с собою рыжего коня, он помоложе, побойчее и легче на рысь! — Потом, подумав, обратился к председателю: — Тима! Пиши от меня еще одного коня для войны!

Плотина молчания прорвалась. Со всех сторон послышались крики:

— Пиши от меня пару коней. Одного под верх, другого в обоз.

— И от меня одного... И от меня... — слышались голоса.

В течение нескольких минут крестьяне отдали для военных нужд тридцать лошадей, несколько голов рогатого скота, много пудов хлеба.

Казанка выставила полуроту молодых, здоровых, обученных еще в царской армии вооруженных бойцов» (64).

Со стороны почин казанковцев выглядел, наверное, как безрассудная авантюра, в которую по непонятным причинам оказались вовлеченными обычно холодно-рассудительные и понимающие свой личный интерес зажиточные мужики. Но он не был авантюрой. Сразу же после мирского схода по всем дорогам, ведущим из села,

помчались конные нарочные, развозящие по округе краткую весть: «Сучан в огне восстания. Помогите нам! Восставайте!» А в деревнях верховья Сучана давно уже ждали таких гонцов. Уговаривать не пришлось. Поднимались быстро и бодро. Да и как отказаться от участия в столь добром деле — от того, чтобы бить интервентов и всех, кто с ними? А за верховьем Сучана поднялись деревни низовья, а за Сучанской долиной другие долины Приморья, а за Приморьем Приамурье, Прибайкалье, Забайкалье, Сибирь Восточная и Западная. Нет, казанковцы не были искателями приключений. Совсем напротив, это генерал Гревс назовет в воспоминаниях поход своего прекрасно обученного, вооруженного и оснащенного экспедиционного корпуса «американской авантюрой в Сибири», а надо сказать, что американские войска так ни разу и не пришли в боевое соприкосновение с частями Красной Армии и имели дело только с партизанами. Эти же партизаны разорвали в клочья отброшенную за Урал армию Колчака, образовали регулярную армию Дальневосточной республики, вынудили японцев к эвакуации и взяли приступом последние оплоты белых в Приамурье и Приморье.

Казанковцы сажают хмельничан за стол президиума в своем «обществе», тем самым давая понять, что все споры и ссоры на меже отошли в прошлое: если уж подниматься за Советскую власть, то и признавать все ее постановления. И действительно, вскоре после начала восстания проводится изъятие у «стодесятичников» излишков земли, сдаваемых ими в аренду, и передача изъятых в безвозмездное пользование бывшим арендаторам (65). Эта мера не оттолкнула от общего дела ни Казанку, ни другие богатые, теперь «утесненные» села, а корейцев и китайцев к нему привлекла; в составе Сучанского партизанского отряда сражались отдельная корейская рота и китайский разведывательный взвод.

Не стало Советов в городах, но сохранившиеся или возникшие вновь по деревням сельские и волостные Советы, избранные крестьянами и состоящие из *крестьян*, проводили ту же политику *пролетарской* диктатуры. Теперь крестьянские Советы возлагали на крестьян постоянные натуральные налоги и чрезвычайные реквизиции, необходимые для довольствия партизанских отрядов, теперь крестьяне сами проводили жесткую линию по отношению к кулаку, которого ранее уважали и побаивались, сами призывали на военную службу своих детей и внуков по мере убыли бойцов в партизанских рядах. То, что раньше воспринималось как воля «города», навязываемая деревне, теперь с неоспоримой очевидностью следовало из потребностей борьбы (66).

Недели не прошло с того дня, как поднялась Казанка, а во Фроловке уже собирается съезд представителей боевых дружин из деревень всего верховья Сучана. Он постановляет образовать сводный Сучанский партизанский отряд. В декларации, направленной консульскому корпусу, он формально объявляет войну всем иностранным державам, повинным в вооруженной интервенции, не давая, впрочем, себе труда перечислить их поименно (67). Сознавая, что десятку деревень вести такую войну будет тяжело, он, как перед этим Казанка, рассылает в разные стороны группы агитаторов поднимать народ. И он отправляет особо доверенного человека во Владивосток на связь с большевистским подпольем, чтобы известить, что восстание началось, что оно нуждается в оружии, в притоке в отряд рабочих, в политическом и военном руководстве со стороны РКП (б). Партизанские командиры Н. К. Ильюхов и И. П. Самусенко вспоминают: «По своим политическим целям и задачам движение вполне определилось как пролетарское, направленное на восстановление Советской власти на Дальнем Востоке... Подавляющее большинство восставших составляли бедняцко-средняцкие массы. Восстание возникло стихийно, но в дальнейшем во главе его встали коммунисты, которые внесли организованность, решимость и целеустремленность» (68).

Деревенская беднота шла за пролетариатом и раньше, не покидая его даже трагическим летом 1918 года, но не она делала погоду на Дальнем Востоке. Решающий перелом в событиях произошел тогда, когда такие богатые торговые села, как Казанка, идущие в авангарде капиталистического развития русской деревни, внезапно свернули с этого пути и вместо того, чтобы поддержать стоявшее на платформе «свободы торговли» белое правительство и использовать благоприятную экономическую конъюнктуру, чтобы потуже набить кошелек, объявили «верховного правителя России» самозванцем и мятежником против законного Советского правительства в Москве (эти слова были подчеркнуты в декларации, направленной консульскому корпусу) и поднялись на смертный бой за Советы (69).

Никакой экономический анализ не даст ответа на вопрос, почему этот коренной перелом в настроениях основной толщи дальневосточного крестьянства произошел. Искать ответа нужно в другом.

...В той же казанковской школе, где недавно проходил сход, генерал Смирнов, вошедший в село во главе полка карателей, проводил порку наиболее уважаемых крестьян нагайками и шомполами. Завершив экзекуцию, он спросил одного из них, деда Полунова, за какую власть теперь он стоит, и получил твердый ответ: «Я стою за власть народа. А народ стоит за власть Советскую. Значит, и я думаю так, как весь народ. Я против народа не ходок».

«Деда вывели из школы, поставили у забора. Пять офицеров с японскими карабинами встали против него. Полунов снял шапку, перекрестился. Он успел сказать только два слова: «Прощайте, мужики!» Раздался залп, и старик рухнул на снег» (70).

В своем зверином простодушии генерал-палач, видно, полагал: вот растерзаю я этого упрямого старика, и все село ужаснется. Но все страхи Казанки уже окончились 15 декабря. До этого солнечного морозного дня она колебалась, прекрасно понимая различие между мирным богатым торговым селом и селом партизанским. Она знала участь, уготованную последнему: разграбленное добро, исполосованные спины стариков, застреленные подростки, изнасилованные женщины, дети на пепелище своих домов. И она согласилась на все, лишь бы остаться со своим народом. Поколебавшись, посомневавшись, пересчитав вынутые из тайников патроны и гранаты, она

шагнула вперед поставила все колебания, сомнения и страхи по ту сторону роковой черты. Бодрая, легкая, самоуверенная встала Казанка во весь рост, шелкнув затвором. Дерзость казанковцев питалась сознанием того, что, хотя их село и далеко от Москвы, но составляет часть той же великой державы, что сами они плоть от плоти великого народа. За высокую честь пришла пора платить высокую цену — ну что же, они за ней не постоют, да ведь и другие такие же русские люди не уклонятся от уплаты.

Пример Казанки разъясняет многое. Колебания крестьянства между пролетариатом и буржуазией даже в крайне правой точке амплитуды (летом 1918 г.) не привели его основную массу к открытой борьбе против Советской власти — это, к слову сказать, и объясняет, почему судьба Парижской коммуны миновала Советы. Середняки кое-где вместе с кулаками поднимали белые мятежи под лозунгами Учредительного собрания, кое-где вместе с городскими рабочими и деревенской беднотой подавляли их, но в общем и целом крен середняка вправо означал его отказ от поддержки Советской власти, не больше. Реалистичная и искусно проводимая аграрная политика большевиков принесла свои плоды: к моменту решающей атаки на капитал мелкая буржуазия оказалась нейтрализованной, а буржуазия осталась с глазу на глаз с пролетариатом, что и требовалось для его победы. Исход мятежей Каледина на Дону, Дутова в Оренбуржье, Семенова и Калмыкова в Сибири, Гамова в Уссурийском крае показывает с очевидностью, что победа эта была бы быстрой и относительно легкой, если бы не последовавшая вооруженная иностранная интервенция.

Интервенция изменила все: она дала временный перевес белому движению на окраинах России, но она же вывела русское крестьянство из состояния нейтралитета по отношению к Советской власти (очень часто враждебного — хлеб укрывали), толкнула его к союзу с пролетариатом и к признанию диктатуры пролетариата как единственной возможности сохранить российскую государственность. Узкоклассовый, эгоистический интерес крестьянства (свобода торговли) пришел в столкновение с общенациональным интересом, с патриотизмом широких трудовых масс и оказался побежденным. Это и было отмечено В. И. Лениным: «Это поворот *не случайный, не личный*. Он касается миллионов и миллионов людей, которые поставлены в России в положение среднего крестьянства, или соответствующее среднему крестьянству. Поворот касается всей мелкобуржуазной демократии. Она шла против нас с озлоблением, доходящим до бешенства, потому что мы должны были ломать все ее патриотические чувства. А история сделала так, что патриотизм теперь поворачивает в нашу сторону. Ведь ясно, что нельзя свергнуть большевиков иначе, как иностранными штыками...» (71) «Буржуазия оказалась на стороне империалистов, ведущих политику против большевиков. Она готова была на все, чтобы удушить Советскую власть самыми подлыми способами — предать Россию кому угодно, только чтобы уничтожить власть Советов... Россия не может быть и не будет независимой, если не будет укреплена Советская власть» (72).

Поворот всей мелкобуржуазной демократии в сторону Советской власти далеко еще не означал ее перехода на позиции коммунизма. «...Война с Польшей пробудила патриотические чувства даже среди мелкобуржуазных элементов, вовсе не пролетарских, вовсе не сочувствующих коммунизму...» (73), и эти ленинские слова вполне правомерно распространить на весь период борьбы русского народа против иностранной интервенции.

Да, зажиточные крестьяне вроде наших казанковцев не могли испытывать никакой симпатии к диктатуре пролетариата, как к орудию классового господства. В. И. Ленин прямо указывал на существование «глубокой розни экономических интересов пролетариата и мелкого земледельца» (74). Но, несмотря на эту глубокую рознь, среднее крестьянство в массе своей все же поворачивается лицом к Советам, принимает суровую пролетарскую диктатуру, поскольку «Россия не может быть и не будет независимой, если не будет укреплена Советская власть». Партия большевиков, со своей стороны, провозглашает на историческом VIII съезде весной 1919 года коренное изменение внутривластного курса — от нейтрализации середняка при опоре на бедняка к прочному союзу со всем средним крестьянством.

И этот союз до самого окончания гражданской войны и полной победы над интервентами оказался действительно очень прочным. «Крестьянство должно было спасти государство, пойти на разверстку без вознаграждения...» (75) — писал В. И. Ленин. И оно, чтобы спасти свое государство, отстоять независимость Советской России, отдало и хлебные излишки без вознаграждения, отдало и хлеб сверх излишков, ущемляя себя, отдало и детей своих в Красную Армию, и само поднялось на вооруженную партизанскую войну, где это нужно было.

В декабре 1917 года, когда на Дальнем Востоке власть перешла в руки Советов, выборы в Учредительное собрание, произведенные согласно принципам буржуазной демократии, показали, что в этом крае за большевиками идет не более 10 процентов избирателей (76). Но эти десять процентов, представлявшие пролетариат и беднейшее крестьянство и обеспечившие большинство коммунистов в Советах, оказались решающей политической силой, без особого труда подавившей все выступления местной буржуазной контрреволюции. Делом, не словами доказали Советы свое превосходство над парламентаризмом, якобы выражающим «волю народа», ибо, когда пришла пора скрестить штыки, Совета имели за собой все те же десять процентов, Учредительное собрание гораздо меньше, а без малого 90 процентов не выходили из роли довольно безучастного свидетеля пробы сил.

Настроения сторонников «чистой демократии» в создавшейся ситуации с полной искренностью выразил меньшевистский лидер Агарев, крикнувший с трибуны Владивостокского Совета, обращаясь к большевикам: «Вам терять нечего! Вы хотите гражданской войны! Хотите сорвать Учредительное собрание! Мы знаем, сроки вашего торжества коротки! Там, — он поднял руку и указал в сторону океана, — там некто третий решает вашу судьбу» (77).

И долгожданный «третий» явился. Железной пятой подавил красногвардейцев, разгромил из пушек

Владивостокский Совет, загнал «узурпаторов»-большевиков в концлагерь и под надзором корабельных орудий провел месяц спустя после переворота «свободные выборы» в городскую думу. Предсказание Агарева как будто сбылось.

Только вот беда: результаты этих выборов «защитникам русской демократии» в иностранных мундирах пришлось аннулировать. Абсолютное большинство (62 процента) голосов избирателей было подано за коммунистов — за тех самых, что дожидались смерти за колючей проволокой (78). Мелкобуржуазные слои во Владивостоке, шедшие ранее за эсерами и меньшевиками, резко повернули налево. Даже профсоюз приказчиков призвал своих членов голосовать за большевиков. Им бы, приказчикам, только радоваться росту деловой активности под крылом у интервентов, так нет, туда же — предпочли опыт социального самоубийства перспективе отдать русский Дальний Восток заокеанскому «третьему». «Молчаливое большинство дальневосточного крестьянства не призывалось к избирательным урнам вплоть до 1920 года, а когда выборы в Народное собрание Дальневосточной республики были проведены, подавляющее большинство крестьянских представителей пошло за большевиками (79). В Народном собрании второго созыва коммунисты располагали уже твердой поддержкой 74 процентов от числа всех депутатов (80).

Ошибался меньшевик Агарев, полагая, что военное поражение положит конец «торжеству» большевиков. Напротив. Лишь только после того, как Коммунистическая партия прошла горький путь поражения на поле боя и превратилась в партию расстрелянных, повешенных, изрубленных в куски, сожженных живьем в паровозных топках (между тем лидеры всех прочих партий устраивали банкеты для интервентов и фотографировались на палубах их броненосцев), только после этого и вследствие этого она завоевала полное доверие и безусловную поддержку широких непролетарских масс русского народа.

Патриотизм — это, конечно, лишь один из факторов поворота российского крестьянства против интервенции и союзной с ней белогвардейщины, поворота, окончательно утвердившего Советскую власть. Помимо него, были и другие очень важные причины. Прежде всего это борьба за сохранение завоеваний демократической революции вообще и земли, полученной из рук Советов, в первую очередь. Крестьянство могло бы еще быть увлечено демагогией эсеров с их лозунгами созыва Учредительного собрания, с их восхвалениями всеобщей свободы (и в особенности свободы торговли), но когда русский мужик разглядел за всем этим словесным покровом вождельния «золотопогонников», дворянства, жаждущего вернуть себе свои поместья и восстановить монархию, он дезертировал из белой армии и вступал в Красную. И потом разнузданный грабеж и насилия, чинимые белогвардейцами и иностранной военщиной, широкие массы русского крестьянства испытали непосредственно на себе.

Пример Казанки потому и ценен для историографа, что позволяет выделить действие первого фактора в чистом виде. Экономическому благоденствию этого села грозил аграрный переворот не со стороны белых, а со стороны красных: Советы лишили казанковцев привилегированного положения господствующей нации великороссов, по отношению к китайскому и корейскому меньшинству; никакого непосредственного ущерба Казанке белая власть не принесла.

И в этом восстании мы без труда различаем характерную для всей истории России черту: на совещании представителей партизанских отрядов во Фроловке казанковцы предлагают организовать движение по принципу самообороны каждого села и слышат в ответ: «Нет! Нельзя дробить и так не столь великих сил. Мы подняли оружие не для того, чтобы оборонять себя, а для того, чтобы идти на помощь Москве; наша непосредственная задача в том, чтобы парализовать уссурийскую ветку железной дороги, по которой белые, рвущиеся на Запад, к столице России и мировой революции, получают оружие, боеприпасы, снаряжение».

Казанковцам жаль свое богатое село, которое сгорит от рук карателей, жаль своих родителей, жен и детей, но возразить им нечего, и они подчиняются решению большинства. Они не помнят ответа смоленских боярских детей Сигизмунду, но та же самая сущность, скрытая в сердце русского человека, выступает в этот грозный «час истины» и порождает то, что кажется чудом.

Подводя итоги борьбы против интервентов и белогвардейцев, В. И. Ленин писал: «Если подумать о том, что же лежало в конце концов в самой глубокой основе того, что такое историческое чудо произошло, что слабая, обессилевшая, отсталая страна победила сильнейшие страны мира, то мы видим, что это — централизация, дисциплина и неслыханное самопожертвование» (81).

Централизация, дисциплина, самопожертвование. Мы знаем теперь, где кроются исторические истоки этих свойств русского народа, которые составляют его сущность. Мы знаем, какое историческое прошлое кристаллизовалось в этой сущности.

«Утвердилось русское государство страшными средствами: рабством, кнутом, казнями гнали народ русский к образованию огромной империи, сквозь строй шел он на совершение судеб своих. Сердиться на прошлое — дело праздное; живой взгляд состоит в том, чтоб равно воспользоваться силами, хорошо ли они приобретены или дурно, кровью ли достались или мирным путем... Эпоха военного деспотизма пройдет, оставив по себе неразрывно спаянное государственное единство и силы, закаленные в тяжелой и суровой школе» (82).

Эпоха военного деспотизма прошла, ушло Московское царство, миновалась Российская империя, но «неразрывно спаянное государственное единство», привычка русского народа к централизации и дисциплине, его готовность к величайшему самопожертвованию ради справедливого дела остались, эти черты укрепились и обогатились новыми. Эти силы, «закаленные в тяжелой и суровой школе», сыграли не последнюю роль в том, что Октябрьская революция победила. Роль России в мировой революции, говоря словами Ленина, приведенными в нашем введении, предопределена «в общем пропорционально, сообразно ее национально-историческим

особенностям». Знание этих особенностей необходимо для всестороннего понимания характера Великого Октября, того исторического наследия, которое восприняла наша революция.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ

1. *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 31, с. 341.
2. *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 41, с. 4.
3. О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Постановление ЦК КПСС от 31 января 1977 года. М., 1977, с. 16.
4. *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 41, с. 3.
5. *T. Anderson*. Russian political thought. An introduction. University of Maryland. Cornell University press. N.Y., 1967.
6. Цит. по: *В.Т. Пауцто*. Реваншисты — псевдоисторики России. М., 1971, с. 97.
7. См.: *В.Т. Пауцто*. Указ. соч.
8. *T. Anderson*, p. I—VIII.
9. *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 39, с. 292.
10. *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 40, с. 118.
11. *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 44, с. 234.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Между Европой и Азией

1. *Ф.И. Тютчев*. Полн. собр. соч., изд. 8, с. 432.
2. *K. Waliszewski*. Pierre le Grand. Paris, 1897, p. 514.

Исторический вызов

1. *В. О. Ключевский*. Соч., т. 2. М., 1957, с. 47.
2. Подсчитано по хронологической таблице курса Истории СССР под ред. В. И. Лебедева, Б. Д. Грекова, С. В. Бахрушина. М., 1939 с. 751—766.
3. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 10, с. 429.
4. *Плано Карпини*. История монголов; *Вильгельм Рубрук*. Путь шестидесяти в Восточные страны. Пер. Малеина. Спб., 1911, с. 50.
5. *Там же*, с. 82.
6. «Повесть о граде Курске», опубликованная в памятной книге Курской губернии на 1886 год, с. 260.
7. *В. В. Каргалов*. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. М, 1967, с. 181.
8. *Там же*, с. 171.
9. *В. В. Каргалов*. Монголо-татарское нашествие на Русь. М. 1966, с. 111.
10. *Karl Marx*. Secret diplomatic history of the eighteenth century. London, 1899, p. 78.
11. Цит. по: *Н.А. Казакова*. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Л., 1975, с. 69.
12. Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. Т. II. Рига, 1979, с. 597.
13. *В.Т. Пауцто*. Образование Литовского государства. М., 1959, с. 375.
14. *Е.А. Разин*. История военного искусства. Т. 11. М., 1954, с. 201.
15. *В. В. Каргалов*. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси, с. 80—81.
16. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 14, с. 362.
17. *С.М. Соловьев*. История России с древнейших времен. Кн. III. М., 1960, с. 19.
18. *Б. А. Рыбаков*. Ремесло Древней Руси. М., 1948, с. 780—781.
19. *Е. А. Разин*. История военного искусства. Т. 11, с. 273.
20. *Там же*, с. 222—224.
21. *С.М. Соловьев*. История России с древнейших времен. Кн. II, с. 285—288; *Е.А. Разин*. История военного искусства. Т. II, с. 268—291.

Ответ Москвы

1. *В.О. Ключевский*. Боярская дума Древней Руси. Пг., 1919, с. 521.
2. *С.Ф. Платонов*. Соч., т. I. Спб., 1912, с. 81.
3. *Там же*, с. 83.
4. *А.Е. Пресняков*. Образование Великоорусского государства. Пг., 1918, с. 49.
5. *В.О. Ключевский*. Соч., т. 2. М., 1957, с. 396—397.
6. «Евразийский временник», т. 4. Берлин, 1925, с. 272—273.
7. И.Р. «Наследие Чингисхана». Берлин, 1925, с. 6.
8. *Wittfogel K.-A.* Oriental Despotism. A comparative study of total power. New Haven — London, 1957.
9. Хрестоматия по истории СССР. XVI—XVII вв. М., 1962, с. 68—69.
10. *И. Тэн*. Происхождение общественного строя современной Франции, т. I. Спб., 1907, с. 112.
11. *Там же*, с. 496.
12. Цит по: Всемирная история, изд. АН СССР, т. IV. М., 1958, с. 497.
13. *К. Маркс*. Secret diplomatic history of the eighteenth century, p. 78.
14. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 21, с. 416.
15. *А. Е. Пресняков*. Образование Великоорусского государства, с. 458.
16. *В.Н. Татищев*. История российская с самых древнейших времен. М., 1847, с. 112—113.
17. *С.М. Середонин*. Иоанн IV Васильевич Грозный. — «Русский биографический словарь», т. 8 Спб., с. 33.
18. *И.И. Полосин*. Социально-политическая история России XVI — начала XVII в. М., 1963, с. 94.
19. *Там же*, с. 64—115.
20. *Я.В. Водарский*. Население России в конце XVII — начале XVIII века. М., 1977, с. 192.
21. *В.Н. Сутнер*. Suvvey of Russian history. London, 1948, p. 390.
22. *Я.В. Водарский*. Население России в конце XVII — начале XVIII века, с. 193.
23. *В.О. Ключевский*. Соч., т. 2. М, 1957, с. 207.
24. *A.Z. Rowse*. The Expansion of Elizabethan England. London, 1955, p. 239.
25. *М. Бобржинский*. Очерк истории Польши, т. 2. Спб. 1891. с. 36.
26. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 21, с. 410—411.
27. *С.М. Соловьев*. История России с древнейших времен. Кн. III, с. 606.
28. *А.А. Зимин*. Опричнина Ивана Грозного. М, 1964, с. 472—474.
29. *Г. Дельбрюк*. История военного искусства. Т. III, с. 123.
30. *С.М. Соловьев*. История России с древнейших времен. Кн. III, с. 160.
31. Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. М., 1937, с. 61.
32. Цит. по: *Р. Ю. Виппер*. Иван Грозный. М., 1922, с. 91.

33. В.О. Ключевский. Соч., т. 6. М., 1959, с. 376.
34. А.И. Герцен. Соч., т. 3. М., 1956, с. 403—404.

СИЛА ПАТРИОТИЗМА

1. А.Е. Пресняков. Образование Великорусского государства, с. 151.
2. Г. Дельбрюк. История военного искусства. Т. III, с. 191.
3. Там же, с. 194.
4. Там же, с. 194.
5. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. II, с. 284—287, 513; Е. А. Разин. История военного искусства. Т. II, с. 268—291; «Русские повести XV—XVI вв.». М.—Л., 1958, с. 169—201.
6. Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XV века. М., 1960, с. 276.
7. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. II, с. 10, 513.
8. В.О. Ключевский. Соч., т. 2, с. 50.
9. Г.В. Плеханов. Избранные философские произведения. Т. V. М., 1958, с. 247—248.
10. Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 6. М.—Л., 1929, с. 184.
11. Л.Н. Толстой. Указ. соч., т. 2, с. 183.
12. Г. Дельбрюк. История военного искусства. Т. III, с. 213.
13. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. III, с. 644.
14. Р.Ю. Виппер. Иван Грозный, с. 105.
15. А. Сорель. Европа и Французская революция. Т. 7. Спб., 1908, с. 405.
16. Там же, с. 89.
17. А. Сорель. Указ. соч., т. 8. Спб., 1908, с. 253.
18. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. IV, с. 547—551, 566—567, 587—589, 620—641.
19. С.Ф. Платонов. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. М., 1937, с. 406.
20. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. V. М., 1961, с. 163—173.
21. А.С. Пушкин. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. 9, с. 197.
22. Л.Г. Бескровный. Русская армия и флот в XVIII веке. М., 1958, с. 147.
23. Voltaire. Histoire de Charles XII. Paris, 1968, p. 57—58.
24. Повесть об осаде Пскова Стефаном Баторием в книге «Русские повести XV—XVI веков», с. 317-318.
25. Е.В. Тарле. Северная война. М., 1958, с. 212—213, 277—283.
26. Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 7. М.—Л. 1920, с. 106.
27. Е. В. Тарле. Северная война, с. 151—152.
28. Цит. по указ. соч., с. 51—52.
29. Там же, с. 51.
30. А.С. Пушкин. Полн. собр. соч., изд. АН СССР т. 9 М 1951, с. 322.
31. А.И. Герцен. Соч., т. 7. М., 1958, с. 192.
32. Н.Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III. М., 1947, с. 570.
33. Цит. по: История дипломатии, т. II. М.—Л., 1945, с. 103.

Многонациональная Россия

1. С. Ф. Платонов. Прошлое Русского Севера. Пг., 1923, с. 18.
2. Азиатская Россия, т. I. Спб., 1914, с. 185.
3. Цит. по: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 16, с. 390.
4. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 16, с. 230—231.
5. С.М. Степняк-Кравчинский. В лондонской эмиграции. М., 1968, с. 137—141.
6. Цит. по: В.Я. Басин. Россия и казахские ханства в XVI—XVIII вв. Алма-Ата, 1971, с. 205.
7. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. VI. М., 1961, с. 556—557.
8. Там же, с. 278.
9. Е.В. Тарле. Северная война, с. 196—197.
10. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 32, с. 86. П. А. И. Герцен. Соч., т. 7. М., 1958, с. 66.
12. А. А. Преображенский. Урал и Западная Сибирь в конце XVI — начале XVIII века. М, 1972, с. 167—168.
13. Всемирная история, изд. АН СССР, т. V. М., 1958, с. 351.
14. А.А. Преображенский. Урал и Западная Сибирь в конце XVI —начале XVIII века, с. 167.
15. Всемирная история, т. V, с. 351.
16. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. III, с. 36.
17. Сказание о Мамаевом побоище. — «Русские повести XV—XVI веков», с. 177—201.
18. В. О. Ключевский. Соч., т. 2, с. 140.
19. Цит. по: А.Е. Пресняков. Московское царство. Пг., 1918, с. 49.
20. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. IV. М., 1960, с. 69.
21. С.М. Соловьев. Указ. соч., кн. VI, с. 507.
22. Хрестоматия по истории СССР XVI—XVII вв., с. 427-428.
23. В.О. Ключевский. Соч., т. 8. М., 1959, с. 345.
24. G.N. Curzon. Russia in Centsal Asia in 1889 and the Anglo-Russian question. London, p. 392.
25. Генерал Багратион. Сборник документов и материалов. М., 1945, с. 226.
26. Цит. по: Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 6. М.—Л., 1929, с. 111.
27. Н.В. Гоголь. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. XII. М, 1952, с. 419.
28. И.А. Бунин. Собр. соч., т. 9. М., 1967, с. 394, 395, 398.
29. Л. Г. Бескровный. Русская армия и флот в XVIII веке, с. 298.
30. Н. Б. Луцкий. Новая история арабских стран. М., 1966, с. 235.
31. С.М. Соловьев. Указ. соч., кн. IX, с. 568.
32. В.О. Ключевский. Соч., т. 4, с. 311.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Родина Октября Самодержавие и русский народ

1. А.И. Герцен. Соч., т. 3. М., 1956, с. 504.
2. Г. Дельбрюк. История военного искусства, т. IV. М., 1938, с. 198-209.
3. В.О. Ключевский. Соч., т. 4. М., 1958, с. 81.
4. М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, т. II. М.—Л. 1933, с. 270.
5. В.О. Ключевский. Соч., т. 4, с. 80.
6. Там же, с. 80—81.
7. Цит. по: М.П. Покровский. Русская история с древнейших времен, т. II, с. 249.

8. К. Валишевский. Дочь Петра Великого Елизавета I. Изд. Суворина. Пг., с. 225—226.

9. Там же, с. 485.

10. Там же, с. 485—486.

11. «Русский архив», 1871, № 1, с. 187.

12. П.А. Кропоткин. Записки революционера. М., 1966, с. 93.

Три поколения

1. *Custine*. La Russie en 1839. Bruxelles, 1843, t. I, p. 305—306.

2. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 151.

3. Цит. по: Узники Петропавловской крепости. Л., 1969, с. 217. 4. *Custine*, t. II, p. 188.

5. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 11, с. 45—46.

6. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 261.

7. Декабристы. Новые материалы. М., 1955, с. 32.

8. А.И. Герцен. Полн. собр. соч., т. IX, 1919, с. 140.

9. Цит. по: М. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв. М., 1924, с. 60—61.

10. Цит. по указ. соч., с. 61.

11. J. R. Green. Histoire du peuple anglais. Paris, 1888, t. I, p. 278—279.

12. Ibid., p. 279.

13. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. VII. М., 1962, с. 72—73.

14. История СССР, т. I. М., 1939, с. 426.

15. Там же, с. 518.

16. Там же, с. 612.

17. Там же, с. 426.

18. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Сборник документов. Т. II, ч. I. М., 1957, с. 91.

19. История СССР, т. I, с. 518.

20. История СССР, изд. АН СССР, т. III. М., 1967, с. 465.

21. Цит. по: История СССР, т. I. 1939, с. 409.

22. J. R. Green. Histoire du peuple anglais, t. I, p. 341—342.

23. Р. Г. Скрынников. Опричный террор. Л., 1969, с. 228.

24. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. V, с. 77.

25. Цит. по: В. В. Каргалов. На степной границе, с. 167.

26. Воинские повести Древней Руси. М.—Л., 1949, с. 68.

27. А. Е. Пресняков. 14 декабря 1825 года. М.—Л., 1926, с. 137.

28. Цит. по: М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, т. IV. М.—Л., 1934, с. 164.

29. Там же, с. 165.

30. Там же, с. 165.

31. М. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., с. 133.

32. Там же, с. 106.

33. И. Тэн. Философия искусства. М., 1933, с. 5.

34. Е.В. Тарле. Соч., т. IV, с. 462.

35. Там же, с. 463—466.

36. Там же, с. 458.

37. М.Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, т. III. М.—Л., 1933, с. 85.

38. Е.В. Тарле. Соч., т. IV, с. 449.

39. С.М. Степняк-Кравчинский. Россия под властью царей. М., 1965, с. 48.

40. Там же, с. 353.

41. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 245—246.

42. А.Е. Пресняков. 14 декабря 1825 года, с. 26.

43. А. И. Герцен. Соч., т. 3. М., 1956, с. 423.

44. Там же, с. 416.

45. Указ. соч., т. 8, с. 344.

46. С. М. Соловьев. История России... Кн. XIV, с. 366.

47. Там же, с. 366—367.

48. Там же, с. 374.

49. Там же, с. 375.

50. Там же, с. 382.

51. Цит. по указ. соч., кн. XI, с. 142.

52. Цит. по: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. 8, с. 99.

52а. Цит. по: Н. Почко. Генерал Раевский. М., 1971, с. 18—19.

53. Цит. по: И. Тэн. Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы. Спб., 1871, с. 440.

54. Там же, с. 99.

55. С. Степняк-Кравчинский. Подпольная Россия. М., 1960, с. ПО.

56. А. И. Герцен. Соч., т. 7, с. 452.

57. Там же, с. 453.

58. Цит. по: М. П. Покровский. Русская история с древнейших времен, т. IV, с. 170.

59. А. И. Герцен. Соч., т. 8, с. 180.

60. С. А. Аралов. В. И. Ленин и Красная Армия. М., 1958, с. 28.

61. Цит. по: Первое марта 1881 года. По неизданным материалам. Пг., изд. «Былое», 1918, с. 279.

62. Цит. по: Е. Сегал. Софья Перовская. М., 1962, с. 353.

63. Житие протопopa Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1934, с. 63.

64. Там же, с. 112.

65. Там же, с. 135.

66. Там же, с. 183.

67. Там же, с. 178—179.

68. Цит. по: С. Степняк-Кравчинский. Подпольная Россия, с. 110.

69. Житие протопopa Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения, с. 71.

70. С. Степняк-Кравчинский. Подпольная Россия, с. 21.

71. Вера Фигнер. Запечатленный труд. Воспоминания в двух томах. Т. I. М, 1964, с. 272,

72. Гегель. Наука логики. Соч., т. V. М., 1937, с. 460.

73. Там же, с. 99.

74. А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. Л., 1974, с. 23.

75. Петр Чаадаев. Апология сумасшедшего. Казань, 1906, с. 15.

76. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256.

77. А. И. Герцен. Соч., т. 7, с. 114.
78. Там же, с. 219—220.
79. Там же, с. 299.
80. Указ. соч., т. 8, с. 96.
81. Сочинения В. Г. Белинского в четырех томах. Т. IV. М., изд. С. С. Мошкина, 1898, с. 518.
82. В. Белинский. Избранное. М., 1948, с. 645.
83. А. И. Герцен. Соч., т. 3. М., 1956, с. 504.
84. Там же, с. 228.
85. Там же, с. 502.
86. Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1877 г. Спб., 1878, с. 91-92.
87. Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 78. М., 1956, с. 147.
88. Указ. соч., т. 68, с. 59 (пер с нем. с. 64).
89. А. И. Герцен. Соч., т. 3, с. 501.
90. В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 6, с. 25.

Октябрьская буря

1. М. Я. Покровский. Историческая буря и борьба классов. Вып. 2. М.—Л., 1933, с. 108.
2. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 25.
3. Там же, с. 28.
4. Там же, с. 134.
5. Там же, с. 134—135.
6. Цит. по: М. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., с. 84.
7. М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах. Т. 23. М., 1953, с. 400—401.
8. Е. И. Мартынов. Царская армия в Февральском перевороте. Л., 1927, с. 82.
9. Там же, с. 80.
10. Г. В. Плеханов. Русский рабочий в революционном движении (по личным воспоминаниям). М., 1919, с. 9—11.
11. См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 248—253.
12. Там же, с. 250—251.
13. См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 306—307.
14. История КПСС. М., 1962, с. 187.
15. А. И. Верховский. На трудном перевале. М., 1959, с. 155.
16. А. Вильямс. Путешествие в революцию. М., 1977, с. 57—58.
17. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, с. 46.
18. Там же, с. 20.
19. Г. Биншток. Очерки германской революции. М., 1921, с. 44.
20. Десять лет германской и австрийской социал-демократии. (Что говорят они семи о себе.) М, 1925, с. 65.
21. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 32, с. 557—558.
22. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 32, с. 287—288.
23. Е. В. Тарле. Соч., т. V. М., 1958, с. 92—93.
24. См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 246.
25. С. М. Буденный. Пройденный путь. М., 1958, с. 13.
26. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Сборник документов. Т. II, ч. I. М., 1957, с. 91.
27. С. М. Степняк-Кравчинский. В лондонской эмиграции, с. 123.
28. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 32, с. 269.
29. А. И. Герцен. Соч., т. 7, с. 190—191.
30. Там же, с. 192.
31. Там же, с. 193—194.
32. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, с. 190.
33. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 162.
34. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, с. 331.
35. М. Х. Асылбеков. Железнодорожники Казахстана в первой русской революции. Алма-Ата, 1965, с. 37, 60—61.
36. А. В. Пясковский. Революция 1905—1907 годов в Туркестане. М., 1958, с. 113, 244.
37. Там же, с. 508.
38. Там же, с. 508.
39. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 31, с. 314.
40. Там же, с. 243.
41. Цит. по: В. В. Готлиб. Тайная дипломатия во время первой мировой войны. М., 1960, с. 127.
42. R. Aldington. Death of Hero. М., 1958, р. 15.
43. Цит. по: В. С. Васюков. Предыстория интервенции. М., 1968, с. 287.
44. Там же, с. 286.
45. П. Е. Дыбенко. Из недр царского флота к Великому Октябрю. М., 1958, с. 114.
46. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 348.
47. А. И. Верховский. На трудном перевале, с. 447.
48. П. Е. Дыбенко. Из недр царского флота к Великому Октябрю, с. 112—113.
49. Там же, с. 123.
50. Там же, с. 121.
51. Там же, с. 115.
52. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, с. 56.
53. Г. Я. Попов. Партизаны Заманья. Красноярск, 1974, с. 75.
54. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 121.
55. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 40, с. 16—17.
56. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, с. 356.
57. Там же, с. 364.
58. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, с. 127.
59. Я. Ильохов, И. Самусенко. Партизанское движение в Приморье. М., 1962, с. 24.
60. Цит. по: Д. И. Бойко-Павлов, Е. П. Сидорчук. Так было на Дальнем Востоке. М., 1964, с. 238.
61. Азиатская Россия, т. I, с. 524.
62. Д. И. Бойко-Павлов, Е. П. Сидорчук. Указ. соч., с. 23.
63. Я. Ильохов, И. Самусенко. Указ. соч., с. 24.
64. Там же, с. 29.
65. Там же, с. 65.
66. Там же, с. 33, 36—37.

67. Там же, с. 32.
68. Там же, с. 58.
69. Борьба за власть Советов и Приморье (1917—1922). Сборник документов. Владивосток, 1955, с. 245.
70. Н. Ильюхов, И. Самусенко. Указ. соч., с. 41.
71. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, с. 215—216.
72. Там же, с. 217—218.
73. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 43, с. 11.
74. Там же, с. 59.
75. Там же, с. 141.
76. Д. И. Бойко-Павлов, Е. П. Сидорчук, Указ. соч., с. 236.
77. П. М. Никифоров. Записки премьера ДВР. М., 1974, с. 23.
78. Там же, с. 62.
79. Там же, с. 135.
80. Там же, с. 159.
81. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 40, с. 241.
82. А. И. Герцен. Соч., т. 7, с. 59.

ИБ № 789

Федор Федорович Нестеров
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Редактор **В. Пархоменко**
Художники **Н. Доброхотова, Т. Доброхотова**
Художественный редактор **В. Неволин**
Технический редактор **Г. Прохорова**
Корректоры **Г. Трибунская, Т. Пескова**

Сдано в набор 16.05.79. Подписано в печать 01.02.80. А01140. Формат 84x108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 12,6. Учетно-изд. л. 13,0. Тираж 100 000 экз. Цена 60 коп. Заказ 812.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.